

В НОМЕРЕ:

Проза, поэзия

Михаил Синельников. Армении. Стихи.....	3
Ваагн Григорян. Последний армянин Дакки. Повесть. Перевод Ж.Шахназарян	4
Овик Вардумян. Три рассказа. Переводы И.Маркарян.....	48
Владимир Пальчиков. Бессонница, или Лошадь в тумане. Поэма.....	58
Эльда Грин. Над головою небо. Из цикла “Приложение к каталогу выставки” Рассказы.....	68
Юрий Аветисов. Одесские небывлицы. Рассказы.....	86

Очерк, публицистика

Левон Хечоян. Железными дорогами Европы. Перевод Э.Бабаханян.....	115
Бэла Гулакян, Армен Джигарханян. Долги наши.....	142

Критика

Магда Джанполадян. Шок от книги.....	154
---	-----

ВААГН ГРИГОРЯН

Последний армянин Дакки

ПОВЕСТЬ

ПЕРЕВЕЛА ЖАННА ШАХНАЗАРЯН

I

Сако, таксист, что каждый день, ближе к вечеру, заскакивал домой перевести дух, наскоро перекусить, чтобы потом без передыху крутить баранку до поздней ночи, – в тот день Сако явился вместе с пассажиром. Проводил его до “Пятого уголка”, известного больше под названием “Кафе Мнаца”, и культурно, как при надобности умел только он, сказал:

– Посидите здесь немного, я мигом обернусь. Это самое лучшее кафе нашего города. Сюда, соскучившись по истинно армянскому духу, приходят все видные люди нашей столицы. Мнац, – сказал, – позаботьтесь о моем клиенте, я на пару минут домой забегу.

– Эй, красавица, подойди, – окликнул Мнац сонную официантку, а сам вышел вместе с Сако.

– Душу мне всю вымотал, гоняя куда ни попадя, – сказал Сако. – Садится, спрашиваю, мол, куда едем. Ты поезжай, говорит. Еду куда глаза глядят. В первый день показалось, за при-

дурка меня держит, притормозил, спрашиваю: “Может, хватит?” Да, говорит, хватит; расплатился, вышел. Сегодня – то же самое. А я с голоду умираю. В конце концов сказал ему: “Могли ли я, уважаемый, на минутку к себе домой зайти?” Пожалуйста, говорит, поедem, я в машине подожду...

– Ну и?.. – спросил Мнац.

– Чокнутый он; а мне надо? Мне б только деньгу зашибить... Вчера я был зол как черт, подумал, вдвое запрошу – пятнадцать тысяч. Двадцать дал. Сегодня возил его – не поверишь! – в Канакер, Чарбах, Нубарашен; тысяч тридцать возьму, ничего, у него, видать, водятся деньжата...

Сако зашел к себе домой, Мнац – в кафе. Заведение его никогда не ломилось от посетителей, а в этот день и в этот час Сакоев пассажир был единственным клиентом, так что облокотившийся на стойку Мнац мог вволю рассмотреть его. Выше среднего роста, пожилой, но крепко сбитый и вроде здоровый, отчего и, наверное, казался человеком какого-то неопределенного возраста. А возможно, из-за своей “чокнутости”? Одет в светло-серый пиджак поверх синей рубашки с расстегнутым воротом. Свою тонкую, черной кожи папку он положил на стол. В любом случае здесь он пока никого и ничем не удивил: заказал только воду, негазированную.

– Хорошее место, – заговорил пассажир, очевидно заметив, что за ним наблюдают, – очень приятное. Я и не знал, что в нашем Ереване есть такие прелестные уголки.

При ином раскладе Мнац подумал бы, что над ним насмеются, но, уже предупрежденный, среагировал спокойно:

– Благодарю, еще бы и посетителей немного, и вовсе было бы прелестным.

– О, не скажите! – запротестовал пассажир. – Вы святое дело делаете, воду даете жаждущим...

– Даем, а как же, – сказал Мнац, – только у нас немного иначе – мы торгуем ею. По-честному, конечно, но торгуем. А вы, наверное, благотворитель?..

– Благотворитель?.. Нет, дорогой, я странник, пустившийся мерить земные дороги... нет, пожалуй, обреченный их мерить...

Вот в эту минуту я нахожусь под этим гостеприимным кровом, где буду в следующую минуту – не знаю... – Голос пассажира понемногу становился певучим, будто он и в самом деле перемещался в какие-то неведомые дали. – Бессчетное множество раз я сидел вот так же в кафе (в аэропортах, гостиницах, в лабиринтах больших и малых городов), в руке – сигарета, на столике – кофе (в редких случаях виски или водка), небрежно расстелив газету, а следовательно – бессчетное множество столов (высоких, низких, круглых, квадратных), льнущие к окнам бессчетные дни (солнечные, холодные, пасмурные), официанты на разных языках мира: чего желаете, господин? – и разве виноват я в том, что чувствую на своих плечах тысячелетнее бремя, что в стакане у меня зачастую остывший кофе (а подчас, прошу прощения, теплая, как моча, водка или виски), взгляд мой скользит по газете, не замечая ни слова, впустую дымящаяся сигарета вдруг словно бьет тревогу, обжигая мне пальцы...

Это уже становилось интересно. Мнац попросил и себе бутылку воды (с газом), сел за соседний столик. Чтобы вы, сказал, не чувствовали себя в одиночестве. От безделья, сказал, мы тоже иногда становимся посетителями. Может, сказал, вы к тому же еще и поэт?..

– Поэт?.. – очнулся пассажир. – О нет! Тоскую, правда, но тоска еще не стихи...

– Сказать, чтобы вам подали водку, кофе? – предложил Мнац. – У нас есть и виски, сигареты...

– Нет-нет-нет, – помотал рукой пассажир, – все это – самообман и прошлое: виски, водка, кофе, сигареты... Барышня, если можно, еще одну бутылку воды, без газа...

– “Ахбюр”*, – прочел со своего стола Мнац этикетку на его бутылке. – Не скажу, что это чистая родниковая вода, – не я ее наливал, но так написано...

– Ахбюр... – покачал головой пассажир. – Цовинар зачала великанов от родниковой воды, а вот в Дер-Зоре не было даже капельки влаги...

* *Ахбюр – родник (арм.).*

Цовинар, Дер-Зор – пропустил Мнац сквозь ум и спросил:

– Извините, сколько вам лет?..

– Не поверите, но не знаю, – рассмеялся пассажир и снова певуче: – Главное не количество лет – их бремя, которое ощущаешь явственно как холод, тяжелое, как крест судьбы; а может, этот крест в тебе самом, уже в тебе самом?.. Со стороны, возможно, это незаметно; возможно, люди смотрят, думают: глядите-ка, расселся господин, поставив воду перед собой, небрежно расстелив газету, и смакует, смакует свою праздность, легкую, беспечную праздность в этом обремененном заботами мире... В действительности же это не так, совсем не так...

Мнац поискал глазами газету на его столе, не увидел, сказал:

– Наша девушка, чтобы не сидеть без дела, иногда газеты покупает... Сказать, чтоб принесла?..

– Нет-нет, мне достаточно и этого, – сказал пассажир, бережно положив ладонь на папку.

– Так, значит, вы не поэт, – сказал Мнац, – но отчего это мне кажется, что вы очень начитанный человек?..

– Я действительно довольно начитан, – сказал пассажир, – чтение – одно из немногих занятий, которым я предавался в этой жизни. Я вырос среди книг. Эти пальцы касались рукописей, овеванных магией мудрости наших историков, эти глаза ласкали миниатюры наших древних художников, я листал книги, собственноручно набранные Мегапартотом, манускрипты Святого Лазаря на моем столе служили мне подушкой в бессонные ночи... еще многие другие, менее древние, – но теперь у меня осталось лишь это...

“Это” была тоненькая кожаная папка, на которую вновь опустилась его ладонь.

– Вы работаете в Матенадаране? – Мнацу подумалось, что он угадал.

– О нет, я уже сказал – путешественник я...

Но было уже поздно, Мнац уже решил, что именно этот-то человек ему и нужен.

Мнац переживал сложный и противоречивый период жизни. Славившийся тем, что книг он не читал примерно с пятого или

шестого класса (а до этого – с грехом пополам – только учебники и парочку детских книжек), теперь, на пороге шестидесятилетия, он прославился тем, что оборудовал в своем доме библиотеку. И, начиная с осени (со дня, так сказать, открытия библиотеки), стал мерить людей по их отношению к его детищу, перекраивая соответственно собственное к ним отношение. Многие попали в его черный список, например сын его дядьки Самвел – член-корреспондент Академии наук, так и не соблаговоливший почти за полгода явиться на предмет обозрения библиотеки двоюродного брата. Или его сосед Гор Давтян – учитель армянского языка и литературы, забравший себе в голову, что это он подсказал Мнацу идею библиотеки. Дурно вел себя и Галуст Тер-Галстян: человек образованный, он разглядывал Мнацеву библиотеку и говорил совсем о другом. Были, конечно, и безоговорочно восхищавшиеся, но из его, Мнаца, окружения, чье восхищение (“Ну ты даешь, братец Мнац!”) он ни в грош не ставил. Да, неплохо, когда тебя уважают: эти сукины дети понимали, что рядом с Мнацем они – мелкота, но его самолюбие жаждало доброго слова знатока, специалиста – а таких не было. И потому каждая новая встреча, каждое новое знакомство неволью превращались в своего рода охоту на знатока-книголюбца, если, конечно, жертва более или менее могла сойти за такового. До сих пор подобных он не встречал. В “Пятый уголок” захаживали в основном шалопаи-бездельники с 5-й улицы и их друзья-знакомые, которые – сколько ни старался задобрить их Мнац – никак не причащались свету знаний, продолжали оставаться в своей темноте. Делать, что ли, было нечего серьезным людям, оставив тьму городских кафе, посещать какой-то захудалый “Пятый уголок”! Так что пассажир Сако был просто находкой. Правда, Сако сказал, что он чокнутый, да и сам Мнац видел, что, похоже, и вправду чокнутый, но Сако не знал того, что знал Мнац. Что, помимо его пассажира, был и другой чокнутый. Еще при устройстве библиотеки он нет-нет да подумывал: “Да никак тебе, парень, крышу снесло? С чего бы ты это в уме повредился?” Так что если Сако радовался десяти тысячным чокнутого, то Мнац соблазнился идеей услышать его голос в своей библиотеке...

– Ладно, – сказал, – вы странник, но хоть в Матенадаране-то вы бывали?..

– Несомненно, – сказал пассажир, – я бывал во многих книгохранилищах, и в старых и в новых, однако...

Мнац не дал ему снова отклониться от темы, сказал:

– Я бы хотел, чтобы вы посмотрели мою библиотеку. Ваше мнение для меня очень важно. Я еще не встречал таких людей, как вы...

Теперь уже пассажир не дал Мнацу закончить свое слово:

– Удивительно... То же самое могу сказать и я: я тоже не встречал подобного вам человека, со мной еще не бывало такого – чтобы меня пригласили в библиотеку. Куда только не приглашали, но чтобы в библиотеку... С превеликим удовольствием, конечно; ну хотя бы завтра...

Мнацу хотелось бы сегодня, но завтра, так завтра, тем более что в кафе шумно ввалился Сако:

– Ну как вы тут, не обижали моего клиента?..

– Напротив, я благодарен, что вы привезли меня в этот приятный трактир, – сказал пассажир, поднимаясь с места. – Дочка, – обратился он к официантке, – сколько я должен за две бутылки воды?

– Не забудьте вашу папку, – напомнил Мнац.

– О, – воскликнул пассажир, – благодарю, – и вместо трехсот драмов положил на стойку две тысячи за две бутылки воды.

Когда пассажир, пройдя вперед, вышел наружу, Сако сказал:

– Этот тип бабки наверняка поштучно считает или не имеет понятия о сдаче, но тебе он дает, извини, тысячи, а мне – по десять тысяч...

У машины Мнац сказал:

– Познакомимся: Мнацакан Мнацаканян, по-простому – Мнац.

– О, конечно! – засмеялся пассажир, пожимая протянутую руку. – Мхитар... Да... Мхитар... почему бы нет, Мхитарян... если вы не против... Словом, Мхитар...

Сако пробурчал под нос: “Чтоб человек да сомневался в собственном имени?”, но Мнац взглядом приструнил его, а когда Сако завел мотор, напомнил:

– Так завтра я жду вас, господин Мхитар, как говорят, на том же месте, в тот же час... Сако, ты слышал, – сказал, – дело за тобой...

II

На следующий день Сако в условленное время привез Мхитара.

– Ну, брат, – сказал опять наедине, – скажу, откуда я его привез, не поверишь. Вчера говорю ему: договоримся, мол, на завтра, не то меня Мнац со свету сживет, а он-де, нет, Саркис, ты по своим делам иди, а я, как время подойдет, сам тебя найду. Повез я, значит, клиента в Зовуни, а сам все думаю: как же я до города-то доберусь, не птица все же; не доезжая до Давидашена, гляжу – стоит на пустыре, машет мне рукой...

Любопытные вещи рассказывал Сако, однако голова Мнаца была другим занята.

Дом его был продолжением кафе (в хронологическом смысле – наоборот), так что обычно домочадцы (жена его, нагруженная пакетами, невестка, держа за руки детишек) запросто, по-домашнему ходили туда и обратно короткой дорогой – через кафе. Ворота открывали в редких случаях: когда Мнац выезжал на машине или, что бывало еще реже, если кафе по счастливой случайности бывало переполнено пьяной и полупьяной братией с 5-й улицы. На этот раз, однако, ворота были торжественно раскрыты, и вместо вчерашней сонной подавальщицы на пороге дома Мхитара встретили хлебом-солью теплых улыбок супруга и невестка Мнаца и со столь же прелестными насупленными взглядами его внучата-близнецы, лет трех-четырёх. Мхитар был явно очарован, особенно малышами, однако самое большое очарование ждало его, конечно, внутри.

Мнац сроду не бывал в библиотеке. Но по телевизору видел пару фильмов, где, кроме всего прочего, его поразили библиотеки, все стены которых от пола до потолка были заставлены книжными полками с превеликим множеством книг. И помнил имя мужа, восседавшего в одной из этих библиотек за тяжелым, разлапистым письменным столом, в кресле с метровой

спинкой, – лорд Джон Адамс Беверли. Подобного замка он никак иметь не мог: его отец-учитель не оставил после себя такого состояния, зато оставил немалое количество книг. И теперь Мнац, восседая пусть и не за таким тяжелым и разлапистым, но все же письменным столом, пусть и не с метровой спинкой, но все же в кресле, рассказывал Мхитару, сидевшему напротив на обычном и чуть-чуть скрипучем стуле:

– Все, что вы видите, я сделал в память моего отца. Еще задолго до этого я подкинул немного денегат префектуре, и мне позволили увеличить дом за счет двора. Дети растут, думал я, свадьбы и все такое устраивать будем, где же мы разместим столько гостей, большой зал нужен. И оказался прав: свадьбу дочери и старшего сына мы сыграли здесь. Здесь же, увы, справили и поминки моего отца – да озарится его душа светом божьим... Вот после этого я и подумал: осталась только одна свадьба – младшего моего, ну еще, придет час, мои и женины поминки, так стоит ли ради этого держать такую большую площадь, не говоря уже о том, что жизнь изменилась, серьезные свадьбы теперь в ресторанах играют, а мы с женой, слава богу, пока не умираем. Вот так я размышлял, потому что засела у меня в голове мысль такое сделать в память отца, чего еще никто не делал для своего. Душа моего родителя, думал я, смотрит сейчас с небес – что-то она думает о нас? Книги, бедные книги гниют в ящиках, коробках, мешках, пылятся по разным углам – разве это дело? Библиотеку, решил, устрою. Другие, подумал, ставят памятники своим родителям, я же библиотеку сделаю. Надгробную плиту я, конечно, поставил, очень хорошую, – может, и скромную, но точь-в-точь по его вкусу, а библиотека, подумал, не место для скромности: мой бедный отец мечтал об обычном книжном шкафе, так пусть душа его теперь увидит с небес библиотеку и возрадуется. Ума не хватило сделать при его жизни – сделаю в память о нем. Не дешево обошлось. Ведь стены здесь были голые и пол бетонный – расставь свадебные или поминальные столы да скамейки, и все дела. И площадь немалая: шесть на пять – тридцать метров. Столько-то досок настели, столько-то полок сколоти, к тому же из хорошего дере-

ва – бука и дуба. А стол и кресло эти – специальный заказ: я помнил, как отец, устроившись кое-как на краешке обеденного стола, читал и писал, – так стал бы я разве экономить! Годовой доход утек как вода, но я доволен: отцовы книги теперь там, где им быть полагается. Прежде чем расставить, я велел стереть пыль по одной с каждой книги... Скажу еще, что отец из-за этих книг натерпелся немало – мать поедом его ела. Может, и права была: порой в доме и крошки хлеба не бывало, потому как отец последнюю копейку на книгу отдавал. Да, мы оставались голодными, но выросли людьми. Благодаря отцу. Вот так-то... не знаю, это все, что сумел я... – скромно заключил Мнац.

– Вы исключительный человек! – воскликнул Мхитар, явно впечатленный как услышанным, так и библиотекой.

– Говоря начистоту, – продолжал Мнац, – отцовых книг было не столько. Когда мы начали расставлять их, и половина полка не заполнилась. Остальное я прикупил. Нет, я не ходил по книжным магазинам... Многие из наших соседей, я слышал, мечтали избавиться от своих книг, ну я и сказал-де, несите, покупаю. Дешево покупал, чохом, но две тыщи книг тоже денег стоят... Не скажу, что это сплошь хорошие книги, среди них наверняка есть и никакие, но все равно это книги, не мусор же, правда?

– Вы великий человек! – сказал Мхитар.

– Нет, – сказал Мнац, – свое место я знаю. Я не открывал ни одной из этих книг. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что это благодаря мне тяга к знаниям – так ведь говорят? – жившая во мне, не растроченная попусту, не разменянная на мелочи, целиком, в первозданном своем виде перешла к моим детям. Дочку, правда, я рановато, наверное, замуж выдал, но в школе она хорошо училась, и, как говорят, она книголюб, а старший сын, отец этих сладких моих внучат, вот-вот должен был окончить университет; но ничего, осенью вернется из армии, продолжит учебу – в каждую свою побывку он об этом твердит... А младший мой этот... Эй, парень, я о тебе говорю, подойди как положено, поздоровайся по-человечески, чего столбом-то стал?..

Младший сын Мнаца, подросток лет четырнадцати-пятнадцати, который сидел за компьютером, а с приходом отца и гостя встал с места, слегка кивнул и в течение всего монолога Мнаца переминался с ноги на ногу, – подошел, протянул руку Мхитару:

– Здравствуйте...

– Здравствуй, сынок, – сказал Мхитар, пожимая ему руку.

Юноша с облегчением пошел сел за свой компьютер, а Мнац продолжал:

– Вот этого, должен сказать, не очень-то тянет к книгам. Хлебом его не корми, дай только посидеть перед компьютером. Все твержу ему: оставь свой компьютер, немного и почитай, а он, мол, и в интернете много чего можно прочесть... Но разница-то все же есть, не так ли? Компьютер ведь не в заваленной всяким хламом комнате стоит, а среди моря книг...

– Бесспорно, бесспорно... – отозвался Мхитар.

– Книги тоже, как и все на свете, дышат, – продолжал Мнац. – Деньги тоже дышат – хвала и честь деньгам! – но, сидя на деньгах, человеком не станешь, а даже просто глядя на книги – станешь. Я, правда, их не читаю, но с закрытыми глазами, положив на книгу руку, могу на спор сказать, что в ней есть...

В голове честного Мхитара и мысли не промелькнуло проверить эту уникальную способность Мнаца – встав с места, он зачарованно водил пальцами по старинному переплету Айказяновского словаря.

– Первое издание...

– Чувствуете, как армянский переливается в вас из книги? – подсказывал сбоку тоже вставший с места Мнац.

– Невероятно... – шептал Мхитар.

– А эта, эта! – сказал Мнац, доставая более старинное издание. – Эй, парень, какого года эта книга?

– Тысяча семьсот первого, – обернувшись, сказал со своего места его сын.

– Нарек это, Нарек, – сказал Мнац. – Минутку, – сказал, – не торопитесь. Положим ее на стол. Теперь закройте глаза, положите вот так на нее руку... Чувствуете?.. Скажите, что вы чувствуете?..

– Вы волшебник, – не убирая ладони с книги, прошептал с закрытыми глазами Мхитар.

– Не всякая книга, конечно, Нарек, – сказал Мнац, бережно ставя Нарека на место. – Скажем, вот эта... Видели, я взял ее не глядя... Теперь кладем на стол. Опять не глядя кладу на нее руку... Положил... Минутку... Все, ерунда!.. прочтите, пожалуйста, название...

Мхитар прочитал:

– “Страницы истории комсомола Армении”...

– Что я говорил! Я, скажу вам, комсомольцем не был, только пионером пару лет... Но книгу храню, она из тех, что собирался выбросить сосед... А выбросим – как же будем различать добро и зло этого мира?.. Эй, парень, – обратился он к сыну, – это какую великую библиотеку сожгли дотла те сукины дети во времена оные?..

– Александрийскую, – не отрываясь от компьютера, сказал сын.

– Видали? Ведь не все же эти книги были жемчужинами – одни наверняка хорошие, другие не очень, но все же это были книги, история; не сгори эта библиотека, мир сегодня мог бы быть чуть-чуть другим...

Из библиотеки Мхитар вышел, наверное, решив, что наконец нашел то, что искал. Во всяком случае, он признался, что ищет, именно после этого.

III

Общение продолжалось в столовой, с участием всех присутствовавших членов семьи. Мнац, сколько можно, уже раскрыл свою душу, очередь теперь была за Мхитаром – во всяком случае, так тот воспринял свою роль. Мы говорим “роль”, потому что смысленый Мнацев младший сын в конце обеда, когда Мхитар уже ушел, заметил, что гость их будто произносил заученные наизусть отрывки из какой-то трагедии. Мнац, понятно, осадил его: у человека, сказал, душа истерзана, вот он и раскрывал отзывчивым людям наболевшее.

А Мхитар говорил:

– ... возможно, вина – моя. Возможно, я попал в яму, вырытую самим же мною. Но Бог свидетель, я старался жить так, как учили меня. Трудиться, трудиться, трудиться – вот девиз, который я услышал, едва появившись на свет, когда еще не знал, что означает услышанное. Строить, строить, строить – этого даже слышать не было необходимости: это я видел каждый день, когда еще не понимал увиденного. А когда понял – преисполнился гордости и счастья.

– Верно, – отозвался Мнац, – мы – народ строителей.

– Строили все, – говорил Мхитар. – Отец мой, братья его, братья моей матери, мои старшие братья. Соседи наши, знакомые. Незнакомцы, которых я встречал, либо отправлялись строить, либо возвращались со строительства. А те, кто уже не строил, – деды мои, что один, что другой, – рассказывали, что они построили на своем веку. И не только они, но и отцы их и деды.

– Здесь? – спросил Мнац.

– Здесь, везде, – говорил Мхитар. – Всего было не увидеть, но я им верил, а воображение рисовало мне эти строения, возможно, более величественными и роскошными, чем они в действительности являлись или были когда-то. Словом, строили все. Вначале каждый для себя, затем, поскольку руки, привыкшие строить, чесались, предпринимали строительство, так сказать, общественных зданий – монастырей, школ. Так что, когда я стал, по мнению моих родителей, в достаточной степени разумным, учиться пошел в нашу нововыстроенную школу...

– В те годы и наша школа была почти новостройкой, – сказал Мнац, – но я недолго ходил в школу... ты продолжай, дорогой...

Мхитар продолжал:

– Учитель наш, конечно, не строил, но наряду с обучением нас грамоте рассказывал о строителях. Постепенно выяснялось, что строили не только наши отцы и деды, но и прадеды их, с незапамятных времен, причем не только дома, школы и церкви, но и города, дворцы и крепости, дороги и каналы, и были они не только строителями, но и храбрыми воинами...

– Он говорил в точности как мой отец, – растрогался Мнац и обратился к молчавшим сыну, невестке, внукам: – Слушайте, это не для меня, я свое уже прожил, для вас это...

– Я окончил школу убежденный, – говорил Мхитар, – что если не стану воином, то строителем уж стану наверняка, однако – удивительное дело – выяснилось, что строить уже нет необходимости, и вовсе не потому, что до меня все уже построили, а оттого, что неизвестно, для кого строить и почему...

– Что такое ты говоришь? – удивился Мнац.

– Правду жизни говорю, – простонал Мхитар.

– Где это?

– Везде. На Севере и на Юге, на Востоке и на Западе – обезлюженные города, заброшенные храмы... Запустение... Вот так и случилось, что я взял в руки посох. Я искал такое место, где были бы не только строения, но и родные мне по крови люди в этих строениях...

– Считаю, что нашел, – сказал Мнац.

– Э, брат, – вздохнул Мхитар, – мне нередко казалось, что я нашел, но горький опыт показывает, что реальность обманчива, как вспышка пламени спичечной головки. Тут солнце нужно, ежеутренне восходящее солнце... Признай, мой друг, что грустно, когда в отстроенном доме нет жильцов...

– “Грустно” не то слово, это – беда, – сказал Мнац, – как если бы вдруг, к примеру, завтра взял да обезлюдел этот наш дом. Такое схоже только с концом света... Ты мне лучше другое скажи: какова твоя-то цель?

– Уже сказал: ищу я...

– Что?..

Но вместо ответа вежливый и деликатный до чрезвычайности Мхитар поднялся с места:

– На сегодня все, мой друг, мне нужно идти. Если вы не против, завтра продолжим наш разговор... Благодарю, сударыня...

Произошли и более странные вещи, во всяком случае немало удивившие Мнаца. Не успел он подумать – если Мхитар собрался уходить, то следует позвонить Сако, как зазвонил телефон и голос Сако спросил:

– Ну как, брат, вы, небось, уже ждете меня?..

– Да, приезжай, – сказал Мнац.

Далее: Мхитар разволновался до невозможности, когда, вставая из-за стола, не нашел своей папки. Ну, понятно – раз он таскает ее с собой, стало быть, нужно, но голову-то чего терять, ведь не убежала бы она из дома! Папка в конце концов нашлась (хозяйка убрала ее подальше, чтобы не мешала всяким там тарелкам, ножам да вилкам), но теперь Мнаца уже удивила радость Мхитара – точно он нашел пропавшего сына. А возвращаясь в столовую после проводов Мхитара, он с изумлением увидел, что за все время обеда никто не притронулся к столу, даже его прожорливые внучата. Наполовину была лишь пуста бутылка с негазированной водой, которую Мхитар собственноручно налил в стакан и выпил. Но если что-то никак не поддается разумению, то лучше выбросить это из головы, и семья, будто ровно ничего не случилось, села обедать, с особым аппетитом после почти двухчасового поста.

Поздней ночью, перед сном, Мнац позвонил Сако:

– Ты еще пашешь?..

– Да, брат...

– Довез до места нашего друга?..

– Почем мне знать... – сказал Сако.

– То есть как это “почем”? – рассердился Мнац. – Или да, или нет.

– Да кто его, брат, поймет! Если мне не осточертеет, не останюсь где-нибудь, он и не подумает выйти. В тот первый день, когда я зол был, нарочно высадил его в Эребуни; вчера, увидев, что вы с ним столкнулись, изрядно поколесив по городу, – у Оперы; сегодня, потому как он снова молчал, ради тебя – опять же у Оперы...

– Но куда он уходит, когда выходит?..

– Да откуда мне знать, я же не иду за ним...

– А что, по нему не было видать, что сегодня он куда-то спешил?..

– Нет, брат...

IV

Мнац не мог позволить, чтобы его, как говорили на 5-й улице, держали за лоха. Все должно было находиться в его руках, он был убежден, что имеет на то право, и именно эта убежденность сделала его, не самого умного и не самого богатого, авторитетом на 5-й улице. Загадки Мхитара не понравились ему, хотя нутром он чувствовал, что тот не прячет камня за пазухой и, несмотря на таинственность, безобидный, как ребенок, самое большое – с приветом. В любом случае, подумал он, завтра проверим.

Завтра наступило, во-первых, принесся с собою новую головную боль. Еще до полудня Мнац понял, что придется выносить наружу столы-стулья, и не только потому, что потеплело, но из-за наплыва посетителей – посади он их даже попарно на один стул, не разместит в узеньком, о четырех столах своем кафе. Ах, Сако, твою мать, балаболка!.. – ругался про себя Мнац, вынося наружу столы и стулья и устанавливая зонты, хотя и понимал, что должен быть благодарен тому за приманку посетителей. Но когда пришел час и Сако привез Мхитара, Мнац, вышедший встречать его, по возможности громко, чтобы услышали и полопались от зависти развалившиеся на стульях всякие болтуны, сказал:

– Погода хоть и великолепная, но сдается мне, нам лучше поговорить в библиотеке.

А Мхитар, точно нарочно, почему-то ответил на западно-армянском:

– Да, пожалуй, там будет недурственно.

– Хорошо, что вы не забыли папку, – уже в доме сказал Мнац, тем самым давая понять, что все находится у него под контролем.

Мхитар, однако, ответил вполне искренне:

– Забыть? Как можно?

В библиотеке Мнац опять же уселся перед письменным столом, в кресло с высокой спинкой, на лице – раздумчивость переутомленного мыслителя, – перед тем, разумеется, предложив гостю стоящий напротив стул. Почти тотчас же в дверь постуча-

ли, и в ответ на Мнацево “да” с подносом в руках, с улыбкой на губах, с пожеланием доброго дня вошла его супруга, неся две бутылки воды (одну без газа). Все было точь-в-точь как в замке лорда Джона Адамса Беверли (хотя там, должно быть, подносили не воду), немного неуместной была лишь возня за дверью (невестка сдерживала детей, рвавшихся в библиотеку). Когда супруга Мнаца, почему-то молвив “ешьте за здоровье”, вышла, Мнац открыл свою бутылку, с бульканьем отлил в стакан воды (с газом) и, следя, как поднимаются вверх пузырьки, сказал:

– Так на чем мы вчера остановились?.. Ах да, вы, стало быть, ищите...

– Да, – подтвердил Мхитар, все еще держа папку на коленях и не притрагиваясь к своей бутылке.

Мнац, пообеда взглядом библиотеку, сказал:

– Площадь – пять на шесть, высота потолка – три метра. Простая арифметика подсказывает, что здесь, за вычетом дверей и окон, самое меньшее шестьдесят квадратных метров библиотеки... – И в ответ на рассеянное “да” Мхитара безжалостно добавил: – Так что же вы ищите... если это не секрет...

– Видите ли... – Мхитар явно нервничал. – Я, безусловно, доверяю вам, но, прежде чем определиться, мне следует, пожалуй, разъяснить некоторые обстоятельства.

– Прошу, – сказал Мнац.

– В данном случае вопрос касается Дакки.

Имя показалось Мнацу знакомым – где-то он слышал его, но кто или что это, – не вспомнил. Он сделал глоток из своего стакана... нет, газа было еще многовато...

– Я слушаю, – сказал.

– Значит, так, – начал Мхитар. – В одном из самых оживленных кварталов Дакки стоит армянская церковь Святого Воскресения... Движение в этом квартале, и особенно в окрестностях церкви, настолько интенсивное, улицы так перегружены потоками людей и машин, кто каждому, кто видит это, невольно приходит на ум: как же бедные верующие добирались бы сюда, если бы здесь проходили богослужения?

– Опаздывали бы наверняка, – сказал Мнац, – или бы не находили места для парковки машин, хотя по воскресеньям, к примеру на нашей улице, более спокойно.

– Да, конечно, – согласился Мхитар, – однако Дакка день ото дня разрастается. Сельские жители из-за тяжелых жизненных условий бегут в столицу, и если несколько лет назад Дакка была...

– А у нас разве не так? – сказал Мнац. – Стала бы наша столица городом с миллионным населением, если бы не сельчане? Вон и на нашей улице есть такие... Понаехали, дома понакупили...

– В случае Дакки все немного иначе, – сказал Мхитар. – Если несколько лет назад в ней насчитывалось всего три с половиной миллиона жителей, то теперь это число возросло вчетверо; еще лет пять, и, по прогнозам, оно перешагнет двадцатимиллионный рубеж, и Дакка по численности населения станет четвертым городом в мире...

Цифра впечатлила Мнаца до крайности.

– Да... – сказал он, – двадцать миллионов это тебе не наш миллион, если, конечно, осталось столько, хотя, кто знает, может, все крестьяне наши уже сюда перебрались. Но нам ведь без разницы – что Григор Лусаворич, что Сурб Саркис*, – если не поленимся, и пешком доберемся. А в этой Дакке, столице этого самого...

– Бангладеша, – напомнил Мхитар.

– Ну да, в столице Бангладеша, видать, положение серьезное... Но почему – “если бы проходили богослужения”? Что, не проходят?..

– Для кого? Кому проводить? – сказал Мхитар. – В Дакке армян не осталось, а в Святом Воскресении остался лишь один смотритель, который только и в силах что в одиночестве шепотом творить молитвы Богу. С армянами Дакки произошло то же самое, что обычно происходит во всех армянских общинах: ассимилировались, перебрались в другие страны. Об армянах Дакки, конечно, не пристало говорить, что они ассимилирова-

* *Григор Лусаворич, Сурб Саркис – церкви в Ереване.*

лись, как, скажем, в Польше, так что скорее всего они переселились в другие страны.

– Бросив церковь, построенную их же руками, бесхозной, – сказал Мхитар. – Извини, Мхитар, но вот что я тебе скажу: нечего было строить церковь, если собирались уезжать. Простой пример: мыслимо разве, чтобы я, убухав столько денег и времени в эту библиотеку, взял да и уехал из этого дома? Нет и нет! Пусть уж лучше меня взорвут вместе с этим домом и с этими книгами...

– Знаю, – сказал Мхитар, подняв, наконец, с колен и положив на краешек письменного стола свою папку, что не ускользнуло от внимания Мнаца, – потому и рассказываю именно вам, а не кому-то другому... Так вот, скажу тебе, что армяне появились в районе нынешнего Бангладеша в двенадцатом веке. Занимались торговлей, ремеслами, мало-помалу создали цветущую общину. В начале семнадцатого века мы видим их уже в самой Дакке. В восемнадцатом веке, точнее в тысяча семьсот восемьдесят первом году, они строят упомянутую мною церковь Святого Воскресения...

– В тысяча семьсот восемьдесят первом году! – поразился Мнац, посчитав в уме. – Это же более двухсот лет!

– Да, – согласился Мхитар, – столько. С того дня армяне Дакки проводили венчания, крестины, похороны в Святом Воскресении. На одном-двух надгробьях церковного двора даже можно увидеть изображения черепа и скрещенных костей – это означает, что погребенные пали в море от рук пиратов. Морские торговые пути были небезопасны, однако это не останавливало армянских купцов – они были вооружены и чаще сами наносили поражение пиратам.

– Молодцы! – восхитился Мнац.

– К сожалению, все это – в далеком прошлом... Многие из них разбогатели и приобрели такую известность, что вступали в родственные связи с британской королевской семьей... Увы, всему этому пришел конец, теперь от них остались лишь надгробья во дворе церкви Святого Воскресения...

– Нет ничего печальнее заброшенной и ветхой церкви... – простонал Мнац.

– О нет! – поспешил утешить его Мхитар. – Даккская церковь Святого Воскресения отнюдь не ветхая. Правда, некоторые части строения, особенно низы каменной кладки, нуждаются в обновлении, но сама церковь находится в полной сохранности и вкупе со всей своей территорией предстает истинным раем в окружающем хаосе. И это благодаря смотрителю церкви Микаэлу-Овсепу Мартиросяну.

– Которому ничего не остается, как читать молитвы Богу...

– Ну, наряду с молитвами он еще и стережет-оберегает церковь, ведь он сегодня единственный армянин Дакки. Кто умер – умер, кто ассимилировался – ассимилировался, а те, что не умерли и не ассимилировались, уехали в лучшие страны. А он как зеницу ока бережет вековые приходские книги рождений, бракосочетаний, смертей, ухаживает за гробницами и надгробными плитами, спасает от забвения историю этой некогда цветущей общины, ведет борьбу против разрушительных сил природы и времени. Помимо этого, в церкви имеются культурные ценности, в частности две значимые работы: “Распятие” и “Тайная вечеря” – обе, как полагают, возможно, принадлежат кисти одного из выдающихся европейских художников. Микаэл-Овсеп Мартиросян – один как перст, но все, начиная с властей и до последнего вора и разбойника, знают, что армянская церковь Святого Воскресения имеет хозяина, и близко не подступаются к ней. Пока...

– Чего это мы сидим так неудобно? – всполошился вдруг Мнац. – Пойдемте-ка вон за тот круглый стол...

Когда они, взяв свои бутылки и стаканы, уселись по-братски за небольшим круглым столом, Мнац спросил:

– А почему “пока”?

– Многие зарятся на территорию церкви. Микаэл-Овсеп Мартиросян, конечно, дает отпор любого рода посягательствам, но ведь ничто не вечно в этом мире, тем паче человек, – что же будет после его смерти, ведь он уже далеко не молод...

– Ладно, – сказал Мнац, – но неужели в этом огромном мире не нашлось хоть одного армянина, который приехал бы, встал рядом с ним?..

– Прекрасный вопрос!.. – воодушевился Мхитар. – Почему не находится – вот, мой друг, вопрос вопросов. Не находится потому, что не должно найтись. Гибнут целые цивилизации, исчезают племена и народы – что такое какая-то церковь, пусть ее сгинет бесследно...

– Извините, не понял, – сказал Мнац.

– Это я виноват – очевидно, я слишком эмоционален, – сказал Мхитар. – Я хотел сказать, что если для спасения церкви Святого Воскресения ничего не делается, значит, действует логика неотвратимого краха, ведущая нас к окончательной гибели.

– Вот теперь понял, – сказал Мнац. – Так нужно писать, говорить, ведь люди не знают – возьмем хотя бы меня. Не скажи ты... извините, вы, откуда ж мне было бы знать?..

– Эх, мой честный друг, – простонал Мхитар, – и писали, и говорили, и обсуждали – но кому это нужно! В диаспоре писали в газетах “Аздак”, “Арадж”, здесь – в “Азге”, возможно, и в других газетах, не знаю... Би-би-си писала на своем сайте – а толку что?

– Би-би-си? – был впечатлен Мнац.

– Да, церковь Святого Воскресения достойна внимания сама по себе, как обреченный на гибель корабль в море иных верований и народов – независимо от того, под каким он плавает флагом. А корреспондента Би-би-си тронула еще и безысходная борьба одинокого капитана против неминуемой гибели... Я сказал “неминуемой”, ибо долгие годы Микаэл-Овсеп Мартиросян рассылает письма по всем мыслимым и немыслимым адресам – по сути, мольбы, бьет в набат, мол, пошлите кого-нибудь, но, увы, – отклика нет...

– Наконец-то, – сказал Мнац, – наконец я уразумел, что у тебя на уме... Так бы сразу и сказал... Знаешь, – сказал, – я наверняка бы поехал подсобить этому человеку, но как мне бросить без присмотра свое дело, детей своих...

– Простите, но у меня и в мыслях не было предложить вам подобное, – прижал руку к груди Мхитар. – Вы чуть-чуть неверно меня поняли. Просто вы оказались тем человеком, с которым я мог бы свободно поговорить об этой проблеме и не показаться смешным.

– Этого недостаточно, дорогой, – сказал Мнац, – дело надо делать...

– Я пытался, – понурился Мхитар, – и не единожды... Увы, безрезультатно...

Мнац почесал в голове.

– Неужто так трудно?.. Извини, но мне кажется, ничего нет проще... Я столько знаю, что бегом побегут, если прознают, что не за свой счет отправятся и там им будет обеспечен кусок хлеба. Это как последний вариант, так сказать – на крайний случай. А так – многие будут счастливы грудью встать за это дело. Ты просто, мой старший брат, приличных людей не встречал...

V

Чем больше думал Мнац о Дакке, тем глубже оседал в нем камень, заброшенный Мхитаром. В полночь, отчаявшись заснуть, он оделся и пошел уселся в библиотеке. Само собой, в кресло, поглядывая то на книжные полки, то на купленный недавно на Вернисаже ониксовый письменный прибор. Сидел он раздумчиво, как лорд Джон Адамс Беверли, под грузом ответственности, с распаленным сознанием, что невозможное осуществит именно он. Задача лорда Джона Адамса Беверли была, несомненно, проще – правда, он должен был спасти всю Англию, но под рукой у него имелось войско, а Мнац пусть и должен был выручить всего-навсего одну церковь, но – один. Он один был должен решить вопрос, который столько лет не могли разрешить все другие армяне... сколько бишь миллионов их осталось в мире? – не столько, правда, сколько англичан, но все одно миллионы и миллионы. Словом, миллионы не сумели, а Мнац – сумеет.

Грандиозность масштабов давила и вместе с тем вдохновляла. Мнац был не глуп, не впервые смотрел на себя со стороны и сроду не воображал, будто “Пятый уголок” – нечто из ряда вон выходящее, подчас даже размышлял: хорошо хоть это сумел; но теперь, произнося в уме “Дакка”, произносил с недостижимых до сей поры высот, откуда “Пятый уголок” виделся размером с му-

ху. Мысль о том, что каким-то пустяком: отправив за свой счет кого-то в Дакку, где ждут не дождутся этого человека, – он навсегда останется в этих высотах, так окрыляла его, что даже библиотека казалась ему теперь сущей ерундой. Хотя, разумеется, размером не с муху. Он подумал: не будь библиотеки, не было бы и этого другого – все взаимосвязано: стоит сделать что-то хорошее, как тут же возникает необходимость в другом хорошем шаге... Горячего энтузиазма было так много, что Мнац даже усовестился, насколько он хороший. Голова у него кружилась, хотя, возможно, от усталости, – уже светало.

VI

Перебрав в уме множество возможных кандидатур на отправку в Дакку, Мнац решил не спешить: попробуем, подумал, решим вопрос на высшем уровне. И, сменив гнев на милость, позвонил своему двоюродному брату и товарищу детства, а в один из учебных годов и однокласснику – Самвелу Мнацакяну: “У меня к тебе, брат, недолгий, но важный разговор, иду”.

Самвел не очень далеко ушел от дедовского дома – жил в высотке на той же улице. Отношения двоюродных братьев были не сложными, просто неоднозначными. Сын простого рабочего, Самвел был в школе отличником, а сейчас являлся членом-корреспондентом Академии наук. Сын Васака – всего лишь учителя истории, но своими познаниями истинного историка – был лентяем и бездельником, и достижением всей дальнейшей его жизни стало захудалое кафе, устроенное им на отрезке улицы, примыкавшем к этому самому дедовскому дому. Люди, знавшие их с детства, в том числе и их родители, были убеждены, что черная кошка между двоюродными братьями пробежала в тот день, когда отличник Самвел, ставший в тот год одноклассником слабого ученика Мнаца, заставлял его разбирать короткое, лаконичное предложение: “Мнац мнац”^{*}. Это стало

^{*} *Игра слов: Мнац остался.*

на 5-й улице чем-то вроде народного фольклора, передававшегося из поколения в поколение и время от времени доходившего до ушей героев фольклора; в подобных случаях Самвел сдержанно улыбался, а Мнац вынужденно хохотал. Черная кошка, если и была таковая, пробежала между ними, как было упомянуто, совсем недавно, когда Мнац сначала задумал, а затем и осуществил свою идею библиотеки. Самвел якобы сказал кому-то, что ничего более оскорбительного в отношении книги еще не совершалось; а Мнац чувствовал, что единственный человек, перед которым он не то чтобы похвастаться, но даже пикнуть бы не посмел в связи с библиотекой, был Самвел. Интересовавшийся в прежние времена книгами дядьки (как при жизни того, так и после), а подчас просивший ту или иную книгу, Самвел теперь забыл о них напрочь. Может, он надеялся, что они достанутся ему? – пару раз подсказывали Мнацу со стороны. Так что, была ли черная кошка или нет – бог весть, но что известное напряжение было – это уж точно, что Мнац почувствовал в очередной раз, переступив порог двоюродного брата.

Как ни старался он, так и не сумел параллельно с изложением приведшего его сюда вопроса кинуть взгляд на книжные полки двоюродного брата, своей вместительностью и качеством – смешно и говорить! – несопоставимые с его, Мнациными, полками. А также на письменный стол и кресло, которые были просто бросовые. И беспокоился, как бы Самвел не догадался, чем он занят краешком своего мозга. А Самвел, повернувшись вместе с креслом к дивану, но не удаляясь от нагроможденного бумагами и книгами письменного стола, мыслями все еще пребывая с этими книгами, бумагами и незавершенным предложением, тщетно старался, дабы соблюсти приличия, сосредоточиться и понять, о чем толкует его двоюродный братец.

Когда Мнац поведал об услышанной от Мхитара Дакке, церкви Святого Воскресения, Микаэле-Овсепа Мартиросяне, Самвел сказал, что для него это новость, но что, дескать, привело Мнаца к нему?

Мнац слегка удивился, что ясно изложенный вопрос остался непонятым. Ему кажется, сказал, будет правильно, если на по-

мощь в Дакку отправится образованный, толковый человек: церковь все же не духан.

Самвел согласился: да, Мнац, пожалуй, прав, но какое это имеет к нему отношение?

Мнац полагал, что подобного человека можно найти именно в его, Самвела, окружении. Мое окружение, сказал, ты знаешь.

Искренность брата отрезвила Самвела – оставив свое кресло, он пересел на диван.

– Да, в нашем институте людей немало – научных сотрудников всякого возраста, но я не представляю, кому можно ни с того ни с сего сказать-де, вставай отправляйся в Дакку, бросив все – работу, семью, виды на будущее. Мнац джан, – сказал, – то, что ты хочешь, дело немыслимое. И наконец, почему этим вопросом должен заниматься ты? Что, делать тебе больше нечего, с чего это тебе запало в голову такое?

Мнац оскорбился, но отпора давать не стал: понял вдруг – это не то место, где можно упоминать Мхитара: дело этак может усложниться еще больше.

Тем временем жена Самвела принесла кофе, сама подседа к ним, поинтересовалась внуками Мнаца, не только здешними, которых часто видела, но и детьми его дочери. Вот внуками своими Мнац мог гордиться перед кем угодно. У него их было четверо – да храни их Господь, – могут родиться и другие, впереди еще очередь младшего сына. “Да-да, – говорила жена Самвела, – внуки, они такие сладкие, вот бы и нам их, наши (сын и дочь) в этом вопросе (брака) оказались нерадивыми”.

Атмосфера понемногу разрядилась; поговорили о более дальних родственниках, о близких соседях. Самвел, видимо поставив крест на том, что ему удастся поработать этим вечером, и не желая, видимо, чтобы вечер этот был окончательно испорчен, предложил выпить по рюмочке. Рюмочка перешла в две, затем в три, сердца у них оттаяли, языки развязались, и Самвел вдруг посмотрел на предложение Мнаца другими глазами.

– Послушай, – сказал, – у нас псих есть один, в самый раз для отправки в Дакку; и мы выгадаем и вы...

Мнац прицепился к “психу”: им-де психованные не нужны, им серьезный человек нужен...

– Да он псих именно своей серьезностью, – сказал Самвел, – форменный зануда: стоит нам начать какое-то дело, предложить какую-нибудь тему, как он тут же принимается копать-копошиться в них, лишь бы выявить хоть какой-то недочет. Или вдруг явится с такой программой, что десять институтов сообща в толк не возьмут... Вот и пусть его едет в Дакку, схватит за горло этих самых правителей и упомянутых тобою жмотов или пусть разработает программу спасения... как ее?.. Святого Воскресения...

Жена Самвела подтвердила:

– Да, он и в самом деле тяжелый человек, жена его, взяв ребенка, просто сбежала от него...

Для обожавшего детей Мнаца это была дурная рекомендация, но в Дакке, в конце концов, требовался не заботливый папаша, а упорный, работающий человек... Словом, Мнац просил настаивал, и Самвел обещал, что поговорит с Психом.

После этого Мнаца охватила такая радость, что он вспомнил некое событие, около четверти века назад переполошившее всю 5-ю улицу, вернее, книгу, в которой были освещены эти события; она имелась и в его библиотеке и так и называлась “5-я улица” – последнюю вещь этой книги под заголовком “Мираж”. Он, конечно, прочел только заглавие, содержание же ему или рассказали, или он сам почувствовал, положив ладонь на книгу. Мнац не любил вспоминать эту книгу, и особенно “Мираж”, но сейчас, расслабившись как-то, говорил:

– Там написано обо всех вас; ты, Самвел... как это говорят?.. главный герой, и отец мой там есть, Айкарам тоже – царство им небесное, – Вардуш, Закар и еще бог знает кто, даже “червь” Артем есть, а обо мне – ни слова. И ты тоже есть, – обратился он к невестке, – имя твое не названо, но на ком же еще женился вот этот, если не на тебе... Да, и сестра моя, Асо, тоже есть. Словом, есть все, кроме Мнаца. Но кто целыми днями стоял с тобой рядом в те мятежные дни, кто цапался с милицейскими и солдатами, кому дали по статье “За хулиганство” пятнадцать суток?.. Так нет же, о Мнаце – ни слова. Я, брат, не в обиде на этого автора, дело его, написал как душа того пожелала, а вспомнил я

об этом, чтобы сказать: для меня эта самая Дакка – что тот же Мираж. Хочу сказать – как стояли мы все тогда плечо к плечу как один человек, не считая всяких там артемов, так и сегодня стать должны...

Мнац ушел от Самвела в полночь, навеселе, в приподнятом настроении. Уверенный, что дело слажено. Предварительная часть, конечно; все определится, когда Самвел переговорит с Психом, устроит им встречу. Но надежды у него были большие.

Самвел сказал, что поговорит и позвонит. Мнац терпел два дня, сам позвонил. Нет, еще не переговорил.

Еще два дня терпел, снова позвонил. Нет, Самвел был занят по горло, выкроить время на Психа не получилось.

На очередной звонок ответила его жена: Самвел вышел, вернется поздно.

На следующий день Самвел был дома, но плохо себя чувствовал, спал.

Не стоит и говорить, что от звонка к звонку Мнац делался все более нервным, и этот его настрой передавался посетителям, которых хоть и не стало меньше, но держались они тише. Неизменно оживлен был только Сако – у него ежедневно имелся неизменный щедрый клиент. А утешительные слова этого клиента были, пожалуй, самым тяжким наказанием для Мнаца.

Наконец, Самвел опять подошел к телефону. Пару минут слушал Мнаца, пару минут тяжело молчал, затем сказал:

– Мнац, дорогой, кончай с этим ребячеством, мы взрослые люди, я же не дурак, чтобы пойти молотить чушь даже с психом... Тот припомнившийся тебе Мираж – это одно, а здесь – другое, не надо валить все в одну кучу. А для подобного серьезного вопроса, если он действительно является таковым, есть государство, церковь, диаспора...

Передавать Мхитару подробности своей неудачи Мнац не стал, просто сказал, что связаться с этим довольно удачным кандидатом не удалось.

– Я взялся не с того конца, – сказал, – наука, образование – все это чепуха, если в человеке нет человечности. Ну а теперь говори, как нам быть...

Мхитар сказал, что дорогу эту он уже проходил, Мнац сам должен решить, сделает он следующий шаг или нет...

– Сделаем, – сказал Мнац.

VII

Мы уже говорили, что Мнац на нашей улице был авторитетом, особенно для тех, кто одалживался у него или – что хуже – не мог закрыть свой долг. В тот же самый день, после очередной таинственной встречи в библиотеке (таинственной потому, что, по глубокому убеждению изнывавших от всевозможных догадок жителей 5-й улицы, Мнац впервые был столь скрытным, а стало быть, серьезное дело обтяпывал), Мнац, глубоко разочарованный в науке и образовании, позвал Суро, выставленного днями из супермаркета “Fifth Plaza”. Прежде всего он попытался уточнить, отчего его выгнали. Суро побожился, что кражи не совершал, – эта видеозапись, где он выносит с задней двери два ящика водки и складывает в чью-то машину, – голая правда, но сделал он это по указанию начальника смены, который после прикинулся невинной овечкой. Мнац, говорил он, вынеси я двадцать четыре бутылки “Абсолюта”, по семь тысяч драмов штука, не вернул бы тебе какие-то восемнадцать тысяч? Мнац поверил ему. До работы грузчиком в супермаркете род занятий Суро был получше – он работал почтальоном и репутацию на 5-й улице имел неплохую.

– Ладно, – сказал Мнац, – поедешь в Дакку?

– А где это? – спросил Суро.

– Где же еще, в Бангладеше.

– Да, можно, – сказал Сако, – а что я там буду делать?

– Ну, работа найдется, площадь-то огромная, глаз да глаз нужен и снаружи и внутри, и низы каменной кладки не ахти в каком состоянии; поглядишь – если сумеешь, пораскинете умом, укрепите; главное, чтобы священник был не один.

– Священник? – опешил Суро. – Поп, что ли?

– Ну да, поп.

– Так ты не о супермаркете толкуешь?

- Да что ты, парень, какой супермаркет! Церковь это, храм.
- В Бангладеше храм есть? – продолжал дивиться Суро.
- Есть, Суро джан; если говорю, стало быть, есть.
- Впервые слышу, – сказал Суро.

– Я тоже не знал, – сказал Мнац, – но оказывается, Суро джан, есть, и притом не сегодня построенный – аж в тысяча семьсот восемьдесят первом году; ты только повтори в уме – тысяча семьсот восемьдесят первый... века прошли, столетия, а храм этот, изумительный культурно-исторический памятник, стоит и поныне; а могилы во дворе! Богачей разных – свояков английской королевы!.. Представляешь, куда ты едешь, Суро?

Суро и в самом деле был ошарашен. Мнац подвел итог:

– Значит, так. Едешь, вкальываешь помаленьку, делаешь, что от тебя требуется, а дальше поглядим: не по душе тебе придется – никто не станет тебя неволить, чтоб оставался там навечно, а понравится – и семью перевезешь...

Глаза у Суро округлились:

– А чего мне, Мнац, семью-то перевозить, да и как?..

– За мой счет, Суро джан, за мой счет, – сказал Мнац, – и это на себя беру, хотя, может, ты столько в Дакке заработаешь, что из моих рук глядеть не будешь...

– Сказать начистоту, Мнац, – замялся Суро, – на сегодня я в таком положении, что даже сто драмов на маршрутку для меня деньги, но...

Тут Мнац вспылил:

– Да что ты, парень, с гор только спустился? Я не о нашем Бангладеше* толкую, о настоящем, о государстве со стапятидесяти миллионным населением, что находится возле Индии...

Однако дело уже сошло клином. Суро, конечно, не отказался (положение-то у него было аховое), просто попросил времени на раздумье. Мнац дал ему время до утра. А утром или чуть позже Суро явился с недоброй вестью: в супермаркете выяснили, что вором был начальник смены – его увольняют, может, даже дело на него заведут, а его, Суро, зовут обратно...

* Бангладеш – расхожее среди ереванцев название одного из районов города.

Жаль, конечно, но ничего, свет клином не сошелся на Суро, и следующим был подвергнут приводу более крупный должник – Амо: этот задолжал тридцать тысяч, и надежды на возврат долга было еще меньше, так как он давно уже был безработным. Чтобы попусту не тратить времени, Мнац начал с различия между Бангладешами: так вот, Бангладеш (настоящий) имеет сто пятьдесят миллионов жителей и по численности населения является восьмым государством в мире. А дальше – остальное... Амо, чья мать была родом из Вагаршапата, вспомнил, что в Эчмиадзине есть духовная семинария – можно-де послать оттуда в Дакку новоиспеченного дьякона, и это будет много умнее, нежели посылать обычного, как он, счетовода, у которого к тому же имеются проблемы с позвоночником. Но груз тридцати тысяч, очевидно, давил его, так как вместо сухого отказа он сказал, что подумает. Мнац опять же дал время до утра.

Однако утром Амо выл от боли, держась за спину, и жена его рассказывала кому ни попадя, как они чуть было не поехали в Бангладеш (не в наш, в настоящий, со стапятидесятимиллионным населением), но потом решили – хоть и голодные, но останутся на родине.

Возмущенный не на шутку (как хорошо теперь он понимал Мхитара!), Мнац решил ухватить рыбу за голову: приводу был подвергнут Арто – этот должен был почти сто тысяч и намеревался урвать еще, к тому же жены не имел, чтобы та сбила его с толку.

Библиотека, слов нет, давила на Арто: столько книг он сроду не видал, но, как назло, тоже смотрел фильм с лордом Джоном Адамсом Беверли, однако на него большее впечатление произвела висевшая на стене коллекция оружия лорда – ружья, револьверы, бердыши и прочее, и сейчас, сидя на стуле просителя и слушая Мнаца, он нестерпимо хотел обернуться и убедиться, что за спиной у него все те же книги, а не оружие. А так как проблемы путаницы с Бангладешами благодаря длинному языку Амоевой жены больше не существовало, Мнац, дабы окончательно подобрать его под ногу, сразу заговорил о райских ус-

ловиях Дакки, особенно привлекательных для тех, кто по уши завяз в долгах. Арто был не лыком шит, все понимал, то есть – что выхода у него нет: или Дакка, или вечная вражда Мнаца, но, собрав в кулак все мужество стоящего на краю пропасти тридцатипятилетнего мужчины, сказал, что если до утра он не закроет долг, то согласен, поедет, пусть даже эта самая Дакка находится не в нашем Бангладеше. А Мнац, чтобы закрепить уговор, сказал, что, если Арто вдруг преступит свое слово, – пойдет крутиться счетчик: десять процентов в день, округленно – десять тысяч.

Мнац в эту ночь уснул в уверенности, что вопрос уже утрясен, во всяком случае прибывшему, как и всякий день, Мхитару сказал, что завтра он может прийти познакомиться с подручным Микаэла-Овсепя Мартиросяна; он, сказал, немного жуликоватый (по казино мотается), но под церковными сводами живо исправиться, а главное – ушлый он.

Однако утро принесло не разочарование даже – оно здорово поколебало представления Мнаца о существующем миропорядке. Ладно еще, испортили ему сон, хотя на него будто бедой пахнуло: с чего бы кто-то спозаранок, в шесть утра, к ним стучался в ворота? Прихватив дубинку, он, полураздетый, вышел во двор, а перед воротами – Арто, в руках – сто тысяч хрустящими двадцатниками. Спасибо, дескать, Мнац, и те две тысячи сдачи не нужны, пусть круглая сумма будет.

Оплеуху эту еще можно было бы проглотить, не выяснись позже, что Арто, вне себя от бешенства, занял у Сако деньги, то есть тот дал ему пятьдесят тысяч из денег, изо дня в день выкачиваемых у Мхитара (сиречь – у Дакки), отправился с ними в казино, набрал “флеш-рояль” и выиграл полмиллиона. Так что, пока Мнац и Мхитар дружно оплакивали очередное свое поражение, Арто через пару домов оттуда входил с несколькими, как и он, дармоедами в ночной клуб “Five Stars”, чтобы отпраздновать свою победу.

VIII

Необходимость уединиться в библиотеке, как заговорщикам, теперь отпала: Дакка обсуждалась на всех углах 5-й улицы, а средоточием были столики на открытом отрезке Мнацева кафе, вокруг которых сидели, стояли, пристраивались на короточках жильцы 5-й улицы, обмениваясь последними новостями или новыми перипетиями вопроса. Пришло самое время хозяину кафе и его вдохновителю объявить конкурс на Дакку, потому как вопрос теперь стоял не о поиске кандидатуры, а о выборе самого достойного примерно из десятка таковых. Но пока они, заняв, так сказать, главный столик кафе, довольствовались тем, что слушали претендентов. Причем среди них были и женщины. Им Мхитар отказывал с присущей ему учтивостью:

– Не возьмусь, сударыня, утверждать, что Микаэл-Овсеп Мартиросян дал обет безбрачия, однако церковнослужитель, прошу прощения, должен быть мужчиной...

Мнац, с одной стороны, был более краток, с другой – базарил не в меру. Может, так оно и было надо. Женщины чувствовали, что решающий голос здесь не за непонятым во всех отношениях незнакомцем, а за Мнацем, и приставали к нему, а Мнац, так сказать, одной рукой гнал их, другой – увещевал. Настырней всех была тридцатилетняя мать-одиночка Шогер.

– Дорогуша, – говорил Мнац, – если у тебя на уме замуж выходить, то здесь выходи, чего прицепилась к бедному попу, ма-ло у него забот?

– Мне муж не нужен, сыта по горло, – говорила Шогер, – мне работа нужна. Убираться буду, полы-окна мыть; или в церкви чистота не нужна?

Вопрос с Шогер Мнац утряс, взяв ее к себе второй подавальщицей (работы, во всяком случае в эти дни, действительно было много), но вот от старой Ареват не было спасу.

– Мнац джан, душу за тебя отдам, неумогу мне больше жить на пенсию, меня пошли, – умоляла она.

– Ну, пошлю, и что ты там делать станешь?.. – уже в который раз повторял без сил Мнац.

– Ублажать его буду, купать-одевать...

Мнац оторопело оборачивался к Мхитару:

– Сколько лет этому Мартиросяну: два года, три, четыре?..

Мхитар, очевидно от замешательства, отвечал на западно-армянском:

– Не думаю... Полагаю, постарше будет...

Мнац снова поворачивался к Ареват:

– Этот человек, мать, – годами, может, чуть помоложе тебя, – у нас не кисачи* просил. Вопрос горячей воды в Дакке разрешен, да и море под боком, – и стукнул по столу рукой, – баста!..

Но когда старая Ареват в очередной раз поднялась на ноги, проклиная Мнаца, Мхитар не дал проклятиям дойти до места.

– Погоди-ка, сестрица, – сказал, доставая кошелек, а из него – Мнац толком не разглядел: не то пять, не то шесть бумажек по десять тысяч, – прошу, не откажи...

Старая Ареват не отказала, взяла и, ворча, ушла восвояси.

– А вот это зря, – сказал Мнац.

И оказался прав. Если до этого на призыв о спасении Святого Воскресения отозвалось с десятков желающих, то теперь число их исподволь удесятилось, и конца этому было не видеть. Приходили те, кто задолжал за свет и не уплатил квартирной платы, кто хотел починить погнутую от удара дверцу автомобиля, чья крыша протекала, кто был не против этим летом поехать на отдых за счет Дакки (иначе Мхитара теперь не называли), и прочее, и прочее, а молодежь, пусть и с некоторым опозданием, смекнула, что таким манером можно заправлять мобильники и даже приобрести новый, сверхсовременный телефон. Мнац, конечно, зорко следил, чтобы рука Дакки (подчас он и сам уже забывал имя Мхитара) ненароком не полезла в карман, однако это был не выход. И, встав во весь рост, заявил:

– Все, выбор уже сделан!

* *Кисачи* – банщик.

IX

И снова они уединились в библиотеке. Большая часть претендентов была забракована без всяких оговорок, остались трое.

Сорокалетний ахалкалакец Арцрун – прозвище, с его же слов, Карташ* – в поисках работы приехал в Ереван, зашел, прельстившись дешевизной, в “Пятый уголок”, случайно услышал разговор о Дакке и воодушевился.

Пятидесятилетний коренной житель 5-й улицы предприниматель Григор – кличка Черный Гриш.

И самый молодой из них, тридцатилетний Грайр, снимавший на 5-й улице однокомнатную квартиру, – без клички и даже без фамилии, хотя ему ни та, ни другая была не нужна: длившееся год и сделавшее его звездой телевизионное шоу представляло участников только по именам; кроме этого, свое имя он, к сведению мира, этимологизировал более чем восхитительным образом: Грайр, то есть “гур айр”**, сиречь – огонь мужчина...

Грайр был подопечным Мнаца; он имел университетское образование, во время шоу превосходно отвечал на самые разнообразные вопросы, пел, аккомпанируя себе на гитаре, пару раз и танцевал и, хотя не стал победителем, все равно приобрел известность на 5-й улице: детвора показывала на него пальцем, подростки мечтали стать Грайром, домашние хозяйки тайком от мужей сожалели, что рановато появились на свет. Представляя свою кандидатуру, он с ходу выдал столько информации о прошлом и настоящем Бангладеша (Мнац узнал, что страна эта прежде называлась Бенгалией и была всего лишь штатом), что несомненно должен был разобрататься и с будущим. Говорил, что кроме блатных русских песен и рока может исполнять и шараканы – само собой, под сводами Святого Воскресения. На воп-

* *Карташ – каменотес.*

** *В арм. яз. это имя пишется с начальной “эйч”: Hrayr, hur – огонь, айр – мужчина.*

рос Мнаца: а не жалко ли ему будет, распростившись со своей славой, уехать в Дакку, притом еще в церковь (восемнадцатидвадцатилетние девушки при одном только упоминании его имени заливались румянцем), Грайр с лукавой улыбкой ответил: а не может ли случиться так, что, посвятив несколько лет жизни Святому Воскресению, он сделает себе лучшую, чем в шоу, рекламу на всю оставшуюся жизнь. Будучи реалистом, Мнац согласился: да, лучший результат достигается, когда совпадают личные и общественные интересы. К тому же очень хорошо, что Грайр молод и может не жалеть нескольких лет своей жизни. Мхитару, видимо уже в силу его возрастного консерватизма, не нравились именно эти песни и танцы, телевизионное кривлянье, дешевая, по его словам, слава.

Подопечным Мхитара был Черный Гриш с его светлой памяти матушкой, в свое время едва ли не дневавшей и ночевавшей в Эчмиадзине (“Господи, даруй капельку ума моему Гришу”), и пламенными речами: встанем горой, не дадим ни змее подползти, ни птице подлететь к Святому Воскресению (похоже, молитвы матушки посмертно таки дошли до места). Правда, он был не молод, но зато предприимчив и вроде не лишен волевых качеств. К тому же был вдов, дети – уже взрослые, каждый сам себе голова. Мнац, оставив в стороне почти сорокалетние их отношения, противился из-за возраста Гриша и особенно его здоровья: некому, что ли, хоронить его здесь, что посылаем быть похороненным в Дакке?

В вопросе Карташа – ищущего работу ахалкалакца, разногласий не было: он тоже был вдов, но мужик в самом соку, здоровье – на месте, а прозвище и огрубелые пальцы – работяги; кроме всего, этот речей не толкал, простым, скромным был человеком, только и сказал: “Где-то же надо мне голову преклонить, так пусть это будет Дакка, а что касается каких-то там низов кладки, так это пара пустяков, можно и всю кладку обновить”.

Наконец, по принципу “ни мне, ни тебе” остановились на Карташе. Мнац, конечно, проверил его паспорт: грузинский, выдан в Ахалкалаке. Спыхватился, снова проверил: нет, записей о жене и детях не было. Стало быть, все в порядке, оставалось

разрешить вопросы с его визой. А в Ереване, как назло, посольств всяких заваливающих стран было пропасть, а Бангладеша – нет. Надо было лететь за ней в Москву, а оттуда айда прямым рейсом или с пересадкой в Дакку. Мнац решил полететь вместе с ним: и поможет, и в путь проводит. Но выяснилось, что у Карташа имелась небольшая проблема – прежде он должен был поехать в Ахалкалак. Последний раз повидать родину, проститься с дочерьми, внуками... Мнац понимал, насколько это важно – может, человек больше никогда не свидится с ними. Представил, что это он едет в Дакку, насовсем, больше не увидит этой улицы, их дома, детей, своих сладких внучат, ну да, и жены своей – и на глаза навернулись слезы...

Мхитар вполне был солидарен с ним, более того:

– Я сам пережил, – сказал, – не одно расставание, прощался и с легким сердцем, и с тяжелым, но их бремя в равной мере будет терзать мне душу до скончания дней...

Итак, обсуждать было нечего: Карташ на пару дней поедет на родину, простится с дочками и внуками... И расходы не ахти какие – пятьсот долларов: сто на дорогу туда и обратно, по двести дочерям и внукам – жизнь в Джавахке была голодноватая... Мнац не позволил Мхитару открыть кошелек: он-де сам возьмется послать кого-нибудь в Дакку, сам и оплатит все расходы... Карташ принял деньги, поблагодарил, через три дня, заверил, он будет здесь: день туда, день обратно, а еще один день... один сладкий и горький день проведет на родине, с родными...

Мнац в самый день его отъезда заказал на конец недели два билета на Москву. Спустя три дня он стал высматривать Карташа. Стемнело, Карташ не появился. Мнац рассудил: ну, сначала он к сестре поехал, как никак тоже родственница, кто знает, увидит ли ее когда-нибудь еще. Он был спокоен и весь следующий день, но вечером заволновался и позвонил. И то, что услышал... Перевернись мир – и то он не был бы так ошарашен...

Какой Ахалкалак и все такое прочее! Простившись с Мнацем и Мхитаром, каменотес Арцрун двинул не на автовокзал, а напрямую в аэропорт, чтобы лететь в Новосибирск. А в Ереван он приезжал не в поисках работы, а чтобы получить армянское

гражданство: в России косятся на приезжих с грузинскими паспортами. Нет, в Ахалкалаке у него – ни дома, ни имущества, продал все, уехал к дочерям. Насовсем? А как же, зятя уже который год как обосновались в России. Сестра каменотеса Арцруна была удивлена до крайности: Дакка? какая Дакка? что это такое? в Новосибирске, что ли?.. Нет, об этом у нас дома речи не было...

Мхитар принял эту ошеломительную новость намного спокойнее.

– Мне не занимать, – сказал, – горького опыта на сей счет. Я был бы немного удивлен, – сказал, – если бы все протекло гладко... Ты, – сказал, – брат, еще дитя в делах подобного рода. Если считаешь, что смысла не имеет, бросим это дело...

Х

Мнац, однако, был не их тех, кто возвращается с полдороги. Разыскать в Новосибирске простого, скромного каменотеса с огрубелыми руками не составило бы труда, но на повестке дня стояла Дакка, Святое Воскресение с зарившимися на нее чужаками, Микаэл-Овсеп Мартиросян, одиноко вставший грудью против ста пятидесяти миллионов. Мнац представлял: будь он там, один-одинешенек, – и чтоб никто не спешил к нему на помощь?.. С ума можно сойти, как сказал бы Мхитар Мхитарян с недоверчивой, вот как сейчас, улыбкой на старческих губах. Мхитар и вправду точно разом постарел на его глазах, и никто не взялся бы сейчас назвать его крепким и здоровым...

Позвали Черного Гриша. Мнац предпочел бы Грайра, но уступил Мхитару. Это я, рассудил, в молодости играл с Гришем в очко, это меня Гриш надувал, Мхитар тут ни при чем, к тому же Гриш, может, и исправился – вот как я. И “Черным” не сам он себя окрестил, а я.

Черный явился, само собой, обиженный: чтоб ему предпочли какого-то там ахалкалакца!.. Карташа-де за человека посчитали, а Гриша – пустым местом? Ну что, съели? Видали, как он кинул вас? Критика была уместной, однако Мнац решил до-

знать, с чего бы это сам он, Гриш, наострил ехав в Дакку, ведь это-де, брат, так на тебя не похоже.

– Правды хочешь? – сказал Гриш. – Я не желаю, братец, идти ко дну. В прошлом году, сам знаешь, я в дым погорел на абрикосах. – Мнац знал: целую неделю четыре фуры простояли на пропускном пункте Верхнего Ларса и сорок тонн абрикосов превратились в грязное месиво. – А в эту зиму налоговая схватила меня за горло, аптеку мою отобрала. Нет уж больше того Гриша, что доил вас, как последних профанов. Да, при большом желании можно еще потрепыхаться, но с меня хватит. Я хотел разбогатеть, построить церковь в память родителей: немало ведь из-за меня они хлебнули горя – не вышло. А теперь, когда вы подняли весь этот шухер, подумал: выстроить церковь не получилось, поеду-ка я хотя бы присматривать за церковью...

Мхитар находил, что никого нет надежнее кающегося человека. Раскаявшийся, говорил, нового греха не совершит. Мнац не был в этом уверен – помнил крапленые карты Гриша, из-за которых он вынужденно тащил-продавал отцовы книги, чтобы иметь деньги на игру. Помнил по одному каждую проданную книгу и представлял, на какой из полок стояли бы они сейчас. Но решающее слово было за Мхитаром.

Итак, Гришу предстояло ехать, но оказалось, что у него тоже имелась проблема, требующая разрешения. Он просил отсрочки. Не на день или на два, на манер Карташа, а на неопределенное время. Родные мои, говорил, если этот человек терпел столько времени, пусть его потерпит еще несколько месяцев: как бы ни были попорчены низы каменной кладки, не обвалятся же они вконец за это время! Да, нехорошо, что многие глаз положили на церковную территорию, но напишите ему, пусть держится, Гриш-де приедет не сегодня завтра.

Нет, Гриш не отправлялся сказать кому-то последнее “прости” и детям не должен был оставлять по двести долларов. У него были долги, не выплатив которые он не имел права ступить ногой за пределы Армении. Не мог взять нового греха на душу. И не говорил, мол, дайте, закрою, а просил, просто умолял пару месяцев сроку: дело есть уже на мази, остается, чтоб с

места сдвинулось, – а как сдвинется да закроет долги, поедет, за свой счет конечно, не ребенок же он, чтобы денег просить на билет! Я и так-де премного благодарен вам, свое доброе дело вы уже сделали.

Составь долг Гриша всего только доллар, Мнац и не подумал бы дать из своего кармана. Он, конечно, не говорил, дескать, каешься, так верни утащенное у меня своими краплеными картами, – все равно Гриш не принес бы и не расставил на своих законных местах уплывшие в неизвестность книги. Но и не стал удерживать за руку Мхитара. Чудилось ему или он в самом деле видел, как тот старел ото дня ко дню (пиджак, светло-серый, теперь свисал с его плеч, воротник синей рубашки вроде стал шире); сколько же ему еще отпущено стареть, пока пройдут запрошенные Гришем пара месяцев... И вышел из библиотеки, чтобы не знать, сколько Мхитар достал из своего бездонного кошелька.

Гриш, он же Черный, “закрыв долги, замолив грехи”, через пару дней вылетел в Астану – должно быть, теперь уже там искать лопухов. 5-я улица из кожи лезла, чтобы узнать, что же предпримут Мнац с Мхитаром, а несколько бывших и нынешних уголовников предлагали различные варианты сведения с ним счетов, – но Мнац был озабочен Мхитаром, его плачевным состоянием.

– Ты через многое прошел, пройди и через это, – замечал он философски.

– Но почему, – говорил Мхитар, – как?

Однако спустя два дня он был уже прежним.

– Принимаю, – сказал, – прав был ты.

XI

Грайр, тридцатилетний энциклопедист, музыкант, пожалуй и ловкая телезвезда, пожелал им доброй ночи. После длившейся часы беседы. Он говорил о роли церкви в сохранении национальной идентичности, о некоторых проблемах, возникших в условиях нынешней глобализации; считая традиционным повсеместное распространение сект, он вместе с тем указывал

на их четко прослеживаемые политические корни, находил символическими попытки спасения Святого Воскресения – как некое посланное народу свыше испытание: насколько мы готовы противостоять вызовам времени и достойно существовать как народ.

Мхитар, он же Мхитарян (мы, во всяком случае, знаем его под этим именем-фамилией), слушал Грайра, подставив старческое свое лицо блаженным волнам колыбельной, а Мнац раздумывал: успеет ли он на пороге своего шестидесятилетия постичь все то, чего не постиг до сих пор? Прав был я все же, думал он, ум и образование ох как нужны, крепко же подвел меня Самвел. Но, может, оно и к лучшему – вместо какого-то психа поедет молодой серьезный, умный, порядочный человек.

Грайр был конкретен и в другом, более тонком вопросе: что побудило его представить заявку на участие в этом своеобразном “конкурсе”. Прежде всего, исключительная возможность попасть в Бангладеш. Цивилизация эта во сто крат интереснее всяких америк и европ. А если это не просто праздная туристическая поездка, но и возможность послужить своему народу – тем лучше. “Но, знаете ли, я говорил и повторю опять: я не могу посвятить всю свою жизнь Дакке и Святому Воскресению, я не мученик, я человек современный, знаю, что мне выгодно, что нет, и рассудил, что, поехав в Дакку, я сделаю верное вложение в свое будущее; у меня есть свои планы, я должен попытаться их осуществить. Останусь два-три года, в крайнем случае пять лет, буду не покладая рук делать все, что в моих силах, но вы должны пообещать, что не обманете меня, не оставите там, найдете мне замену... Я не желаю, как этот удивительный Микаэл-Овсеп Мартиросян, быть распятым в этой самой Дакке, посылать миру безответные мольбы о спасении...”

Мнац и Мхитар окаменели. Первый пришел в себя Мнац:

– Да и двух лет достаточно, дорогой, до этого мы точно что-нибудь придумаем...

– А в Дакке есть кому меня встречать?

– Это не проблема, – сказал Мхитар, – первое же попавшееся такси, к которому вы подойдете по выходе из самолета, отвезет

вас без лишних слов прямо в Святое Воскресение, а Микаэл-Овсеп Мартиросян встретит вас на пороге...

Все как будто было решено, но Мнац, памятуя горький опыт, спросил:

- А до отъезда чего-нибудь не нужно?..
- Что? – пожал плечами Грайр. – Нет...
- А когда ты будешь готов?..
- Когда? – снова удивился Грайр. – Когда скажете...

Что касается Мхитара Мхитаряна, мы что-либо сказать не можем (да и что знаем, чтобы сказать!), но Мнац Мнацаканян, наш давний сосед Мнац в ту ночь не мог сомкнуть глаз – в мире было так много хорошего, во всяком случае – можно было думать о стольких хороших вещах, что он жалел время на сон.

Легкое сомнение, что тебя снова водят за нос, могло бы породить предложение лететь через Европу. Но из Мюнхена (или еще откуда-то) был прямой рейс на Дакку, что вполне оправдывало это предложение. Однако, узнав, что на начальном этапе он будет лететь не один, а в компании с Мнацем, Грайр тотчас согласился: да, через Москву лучше, хотя оттуда он будет лететь транзитом (через Калькутту или еще через что), – главное, что Мнац в этом случае освободится от мороки с визой.

В Москве они устроились в гостинице. Грайр безукоризнен был и здесь: Мнац хотел взять два номера, Грайр воспротивился, дескать, излишние траты, я буду спать на диване.

Они разместились, спустились вниз пообедали; был вечер, погуляли по Москве. Мнац, последний раз бывавший здесь еще во времена Советского Союза, был поражен: в годы его молодости, рассказывал он, ни этого не было, ни того или на месте этого было то-то, на месте того – другое. Затем поужинали в каком-то кафе и вернулись в гостиницу спать, чтобы наутро заняться вопросом Грайровой визы.

Грайр, как и говорил, устроился на диване, Мнац – в спальне, и, поскольку дверь была открыта, какое-то время они переговаривались: задавали вопросы, отвечали. И первым, как вспоминал позже Мнац, уснул, очевидно, он – во всяком случае, он не помнил, чтобы на свои слова не слышал ответа Грайра. И не

удивительно, что с легкостью уснул: совесть у него была спокойна – большое дело сделал, дело, которого даже сам от себя не ожидал, оставался лишь последний шаг; а Грайр, хоть и грешно было ставить его на одну доску с неблагодарными Карташем и Черным, был в любом случае под контролем до самого конца. Стало быть, вовсе не удивительно, что он быстро и глубоко заснул.

XII

Проснулся Мнац, наверное, часов в шесть утра (во всяком случае, когда он посмотрел на часы, семи еще не было), пошел в уборную, вернулся, залег было снова, но в последний момент, поскольку дверь была открыта, по-отцовски пожелал узнать, как спалось Грайру на неудобном диване. Сделал еще шаг, посмотрел и в утреннем свете увидел только смятую подушку и валявшееся на полу покрывало...

К стыду своему (вспоминал позже Мнац), какое-то время он искал Грайра в номере, только что не полез смотреть под диван и кровать. Свои глупые поиски он прекратил, не увидев его дорожной сумки. Вылетел полуодетый в коридор, но дежурной на этаже, как в старые советские времена, не увидел. Вернулся в номер, кое-как натянул на себя одежду, спустился вниз. И узнал от дежурного администратора, что молодой господин ушел давно, часа в два или три ночи.

Тут впору было бы нам сказать, как говорят, Мнац рвал и метал от ярости, но Мнац всего лишь сидел на кровати, свесив голову, вернее – обхватив голову руками. Сейчас он не только не сумел бы нагнать Грайра, но даже выйти за порог гостиницы не мог: негодяй обобрал его подчистую – стащил не только две тысячи долларов, но и рубли порядка двухсот-трехсот долларов. Мнац нашел в кармане пиджака только несколько монет, да и то армянских.

Полностью рассвело, москвичи уже, наверное, были на своих рабочих местах (получающие визу – у порога посольств и консульств), когда Мнац сообразил, что может воспользоваться

гостиничным телефоном – все равно счет представят при выписке. Перед отъездом он снял со своего банковского счета все имевшиеся деньги (Мнац вовсе не был миллионером, кафе едва содержало само себя и его семью), на руках у жены тоже наверняка было не много, оставалось ей занять где-нибудь, послать ему (эх, Мхитар, подумал он, и меня подвел под монастырь, и себя).

Жене он сказал, что дела Грайра улаживаются быстро, на днях он вылетит, но, сказал, все обошлось немного дороже, пошлите, мол, денег на карманные расходы.

Четыре дня сидел Мнац в Москве – не сумел переоформить обратный билет на более близкий день. К счастью, на столько же дней был оплачен гостиничный счет. Ему оставалось только бродить по улицам, питаться в относительно дешевых местах и думать о порядке вещей в этом мире. Он примерно предполагал, в какие посольства или консульства мог пойти Грайр, собиравшийся лететь за его, Мнаца, счет на Запад, но таковых было два-три десятка; а у одного или двух случайно попавшихся ему на пути во время вынужденных прогулок он хоть и замедлял шаг, но все равно знал, что того можно покарать за подлость, а ошибку, не являющуюся физической величиной, исправить карой невозможно, если вообще можно исправить хоть чем-то.

К полудню четвертого дня, добравшись, наконец, до Еревана и затем до 5-й улицы, Мнац сначала дома, затем спешившим в кафе жителям 5-й улицы рассказывал, насколько быстро и удачно сложилось все – Грайр-де уже в Дакке. А свой несколько бесстрастный рассказ он объяснял усталостью.

К концу дня, как и следовало ожидать, появился Мхитар. Ломать комедию перед ним не имело смысла: с первого же взгляда Мнац почувствовал, что тот все знает, и оставалось уединиться с ним в библиотеке.

Они сидели за круглым столом, лицом к лицу, временами то один поднимал взгляд, то другой – Мнац казался Мхитару каким-то ссохшимся, Мхитар Мнацу – одряхлевшим.

– Ну, я, наверное, пойду, – сказал Мхитар, – будем считать, что мы закрыли и последнюю страницу.

Мнац хотел сказать, что, может быть, когда-нибудь кто-то опять откроет и прочтет эту книгу, но вспомнил, что не имеет права говорить о чтении. Вместо этого он позвонил Сако, прощенному в тот день, когда, так сказать, была открыта страница Грайра.

Когда машина подошла и Мхитар кое-как, помогая себе дрожащими старческими руками и ногами, усаживался в нее, Мнац отвел Сако в сторонку:

– Не спускай с него глаз, посмотри, куда он пойдет. Сегодня он мне кажется каким-то не таким...

Минут через пять-десять Сако вернулся.

– Мнац, – сказал, – я ничегошеньки не понимаю. Проехали мы немного, а он, мол, останови здесь, Саркис. Я остановился. Он спустился, пошел. Я вылез, как ты велел, пошел за ним. И вдруг гляжу, нет его. Был – и вдруг исчез...

– Где?..

– Не помню, Мнац...

Утром Мнац увидел на круглом столе в библиотеке папку Мхитара. Подумал: забыл он, а я забыл напомнить. Подумал: если ни за чем другим, то придет за папкой...

ХІІІ

Мнац прождал неделю. Наконец потеряв надежду, подошел к папке – насколько тонкая, настолько и легкая, она казалась пустой. Но когда он раскрыл ее, в ладонь ему скользнула тоненькая, истертая от частого чтения книжка. Набранный крупными буквами заголовок: “Последний армянин Дакки” не заметить было невозможно. Мнац стоял с книжечкой в руках, и ее содержание, как вода из ведра, вливалось в него, повторяя, в сущности, все то, что происходило в последние недели на 5-й улице и с ним самим, Мнацем. Охваченный ужасом, он, желая убедиться, что такого быть не может, такое просто невозможно, что это обман чувств, – он, преодолев врожденное отвращение к чтению, открыл книжку. Строчки ускользали от его глаз, и он в конце концов остановился на последнем абзаце последней странички:

“И стоял он, потихоньку стряхивая с себя ужас и понимая, что они не могли слепо повторять книжку, равно как и книжка – диктовать им свою волю; есть нечто иное, совершенно иное, выше и их самих и книжки, неисправимое, как глупость, неумолимое, как реальность”. И все же, когда он помещал книжку на самом видном месте – как память о Мхитаре и дар его библиотеке, – трудно было догадаться, о чем он думает.

XIV

Только к концу года Мнацу удалось отчасти восполнить потери, причиненные даккским кошмаром. И теперь, если кто-нибудь зайдет на 5-ю улицу, где жизнь течет своим привычным руслом, если даже заглянет в “Пятый уголок”, известный больше как “Кафе Мнаца”, если даже увидит угрюмого его хозяина, облокотившегося на стойку полупустого зала, – никогда не подумает, что здесь не так давно кипели не совсем обычные страсти.

Овик Вардумян

Три рассказа

Перевела Ирина Маркарян

СУДЬБА

Всеми покинутый, он валялся в углу мастерской. Он не ждал от жизни ничего – ни хорошего, ни плохого. Создатель, сотворив его, давным-давно о нем забыл, потому что он был уродливым, безобразно кособоким и словно опровергал собой все признанные каноны красоты. Он тоже мог, как другие кувшины, иметь длинное изящное горлышко, стройное и гладкое тело, рыльце, похожее на лепесток розы. Именно так он и выглядел первоначально, однако при обжиге в печи деформировался и превратился в уродца. Его вины в этом не было, но Творец-гончар вынес ему приговор: вынув из печи, он оглядел кувшин, поморщился и брезгливо отставил в сторону.

С того дня прошло немало времени. Лежа в углу мастерской, он горько оплакивал свою судьбу, с завистью поглядывая на бесчисленные, самых разных форм кувшины, выстроившиеся на рабочем столе гончара. Творец каждый день прикасался к ним – стирал с них пыль, ставил в них цветы. А когда в мастерской бывали гости, наполнял их вином, отчего все приходили в несказанный восторг.

А он валялся в углу, в гряде ненужного хлама, и в нем селились пауки и разные ползучие твари. Участи печальнее и

постыднее для глиняного кувшина и представить нельзя. Сетуня на свою незавидную долю, он каждый день спорил с Творцом, он роптал: если его существование так бессмысленно, отчего гончар в первый же день не разбил его вдребезги, почему не швырнул об пол, чтобы разом прекратить его мучения? Сколько раз он решал свести счеты с жизнью, но ему не доставало духу осуществить это. Видно, и тут, как и во всем остальном, Творец создал его неполноценным, чтобы в жизни ему достались только страдания и позор.

Шли годы. Бесформенный, уродливый кувшин так и жил всеми забытый, презираемый и никому не нужный. Загаженный мухами и другими мерзкими насекомыми, обвитый паутиной, он постепенно терял свое лицо и все глубже погружался в небытие. Многочисленные посетители мастерской, все эти мужчины и женщины, уже просто его не замечали. Раньше их порой забавляло его уродство, они смеялись над ним, но, по крайней мере, в этом было хоть какое-то проявление интереса. Теперь пропало и оно, и трагедия кувшина была абсолютной. “Зачем только я появился на свет! Для чего меня создал Творец? – думал он. – Неужели я так и умру, не сказав ни единого слова?.. Ведь если кто-то приходит в этот Мир, значит, у него есть что сказать ему? Значит, он предназначен служить для чего-то?.. Неужели я был рожден, чтобы стать обиталищем мух, пауков и прочей нечисти! Ведь в каждом кувшине, созданном Творцом, хотя бы раз должны стоять цветы, хотя бы раз в него должно быть налито вино, хоть раз его должна погладить женская рука...”

Случалось, он плакал от безысходности. Но его голоса не слышал никто: ни Творец, ни многочисленные посетители мастерской. Он думал уже, что так и окончится его жизнь, грустная и бессмысленная. Но однажды к художнику пришла женщина – любительница старины. Она принялась разбирать захламленные углы мастерской и, увидев кувшин, весь в пыли и паутине, вскрикнула от неожиданности: “Почему такая дивная красота пылится в углу?” И покуда Творец смеялся над ее восторгами, женщина стерла с кувшина пыль и паутину, вымыла под краном и, подняв к свету, стала восхищаться им: “Какая

необычная форма!.. Какие изящные изгибы!.. И такое сокровище пропадает зря!” А потом она поднесла кувшин к губам и, как будто целуя, тихонько дунула в него. И из кувшина полилась восхитительная мелодия и заполнила собой мастерскую. Женщина не переставая дула в кувшин, и новые мелодии, одна прекраснее другой, сменяли друг дружку. Сам Творец удивился. Он и не подозревал, какой чудесный кувшин вылепил.

Женщина взяла букет цветов, который принесла с собой, поставила его в кувшин и нашла ему местечко рядом с другими кувшинами на столе Творца. Женщина и Творец долго и восхищенно любовались им. А кувшин, полный ярких цветов, просто сиял от счастья и благодарности. И всем казалось, что он самый красивый из всех кувшинов, когда-либо созданных Творцом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шесть лет прошло после смерти моей матери. Шесть лет не отворялась дверь дома. В его стене образовалась трещина. От смены жары и холода щель стала шире. Ветром сквозь нее занесло сухие листья, и они висели, покачиваясь на клочьях паутины. А дом ведь тоже тоскует без хозяина, без хозяйской руки, скучает по звуку шагов, по скрежету ключа в замке. И если слишком долго ни одна душа не отворяет двери дома, его сердце рвется от тоски и в него задувает ветер.

Шесть лет – это целая жизнь. Несколько раз я приезжал в деревню и сразу шел к матери на могилу, жег свечи и ладан, убирал сорную траву, но не мог себя заставить войти в дом: боялся его тишины, боялся звуков, исчезнувших с уходом матери. Вместе с ней умерло всё.

Грустное было зрелище. Деревенские свиньи объели зеленую изгородь, перепахали землю своими пяточками. Многие деревья стояли мертвые. Деревья, которые мы вместе с матерью сажали и растили. Треснувшая стена дома смотрела на

меня в упор, как раненый солдат, из последних сил не сдающий позицию. Всё было мертвым. Живой была только тишина – тяжелая, вязкая и, вдобавок ко всему, неестественная. Вот чего я больше всего боялся.

Поворачивая ключ в замке, глухом от ржавчины, я вдруг почувствовал: дом вздрогнул, как девочка-подросток, груди которой коснулся мужчина. Сердце у меня забилося: значит, он ещё жив... Жена глянула удивленно, потом улыбнулась: “Что с тобой?..” Я не ответил, но она всё поняла по моему молчанию. Я отпер дверь, вошел, опустил на пол сумку. В обеих комнатах дома ощущалось какое-то странное движение. Дом вздохнул. Задыхался. Я отчетливо ощущал это дыхание. Чувствовал, как он теплеет. Только что не вскрикнул и не расплакался, совсем как человек.

Мы все еще стояли на веранде. Потом я стал по очереди открывать двери комнат. С большой фотографии на стене мать и отец смотрели на меня с укором и тоской. Но и они радовались тому, что дом ожил. Молча радовались.

В комнаты было не войти. За шесть лет пауки сделали их абсолютно непроходимыми. Пришлось расчищать себе путь метлой. А паутину в погребе одолел только топор. Откуда ни возьмись прибежал пес:

– Эй... Кто такие?.. И как вошли сюда?.. Кто позволил?..

Шесть лет прошло. Я забыл о его существовании. Вернее, не ожидал. Шесть лет ни в нашем доме, ни в домах моих дядьёв – Ованеса и Есаи – никто не жил, они были необитаемы. Нужда и жизненные невзгоды разбросали братьев по свету. И только пес все шесть лет, как верный страж, нес свою вахту и каждый день ждал возвращения кого-нибудь из нас.

Жена была во дворе. Она в ужасе взбежала на веранду и хлопнула дверь. Она панически боится собак. Покуда я изумленно таранился на пса и постепенно его узнавал, дом со слезами в голосе прошептал:

– Из трех домов ни в одном не нашлось настоящего мужчины. Пес и то преданнее вас. Шесть лет не ест, не пьет – всё ждет...

– Джеко, ты?! – я задохнулся от слёз. Тоска всех, кто умерли или остался на чужбине, выплеснулась из моих глаз. От всей нашей прошлой и настоящей жизни остался один Джеко. В миг узнавания он будто голоса лишился от радости, только тихо скулил и повизгивал. Потом бросился ко мне. Я схватил его в охапку и целовал его морду, его грязные лапы с налипшей землей. Он пытался заговорить, излить мне душу, но язык не слушался. Мой язык меня тоже не слушался... Я удивляюсь, как люди спокойно запирают свои дома и уезжают на чужбину. И не возвращаются. Наверное, боятся тишины. Наверное, сознательно убивают тоску.

– Эй, друг, что за дела? – наконец придя в себя, заговорил пес. – Куда вы все пропали? Я все глаза проглядел...

– Ну вот, я вернулся... – говорю. Что я должен был сказать? Разве мог ответить за других? Если бы каждый из нас приехал хоть на десять дней, пусть даже на неделю, приехал и открыл запертую дверь – все наши мертвые ожили бы!

– Думаешь, легко мне одному три дома охранять? – с непередаваемой лорийской интонацией продолжал Джеко. – Совесть дело хорошее...

Моя жена и мой дом наблюдали нашу с Джеко перебранку и смеялись. Я беспокоился, как бы треснувшая стена дома не рухнула от смеха, и решил, что обязательно укреплю ее. Пусть у меня нет денег, пусть живу небогато, но непременно укреплю, чтобы спокойно смотреть, как она сотрясается от смеха.

Мы с Джеко спустились в сад. Он прыгал и кувыркался, визжал, скулил и взлаивал – все старался одним духом рассказать мне обо всем, но этого всего было так много, что он захлебывался словами.

Большинство моих деревьев засохли на корню, а некоторые и вовсе исчезли. Только грушевые деревья стонали, сгибаясь под тяжестью плодов.

– Где же мне взять воду для них для всех? – оправдывался Джеко. – Едва успевал сторожить...

Губы грушевых деревьев потрескались от жажды, и плоды, не созрев, падали вниз. В нашем саду и в садах братьев отца – Ованеса и Есаи – хозяйничали свиньи. Астхик, жена моего дяди

Есаи, всю жизнь воевала с соседом Даво из-за межи на садовом участке, что остался после гибели ее мужа на фронте. Всю жизнь они осыпали друг друга проклятиями, последними словами обзывали – и всё ради вот этого?! Теперь ни межи, ни изгороди. Здесь правят бал местные свиньи, с шумом поедая срывающиеся вниз сливы и орехи.

– Делаю все что могу, – угадал мои мысли Джеко, – но свиньи – существа наглые и бессовестные.

И кинулся на них с громким лаем:

– Прочь, ненасытные твари! Всё объели! Да вы землю сожрите, и то не насытитесь!

Во сне ко мне пришла мать. После смерти я всегда видел ее больной, голодной, беспокойной. Впервые она была весела, сыта и довольна, в новом платье. Была осень. Теплый солнечный день. Она сидела на веранде, перебирала кизил – только что из леса, и тихонько напевала себе под нос какую-то нежную песню. Я будто вернулся в детство. Лаял пес...

Я проснулся счастливый. Джеко с лаем носился от одного дома к другому, потом к третьему. Стратег! Создавал видимость, что в каждом из трех дворов есть собака. Стояла теплая, тихая ночь. Помимо собачьего лая были слышны и другие звуки, но один из них, особенный, привлек мое внимание. Казалось, будто кто-то поёт вполголоса. Льется тихая, счастливая мелодия. Мой сон как рукой сняло... Я спустился во двор. Мне не померещилось, мелодия вправду звенела в воздухе. Пел мой дом. Пел от счастья. Это до слез тронуло меня. Я погладил рукой стену дома, ступеньки, железную дверку погреба, оконную раму и уселся на крыльце. У меня было чувство, какое бывало в детстве, когда я засыпал у матери на руках, слыша ее ласковую песню. Небо было чистое и ясное. Так много таких ярких звезд я видел только мальчишкой, когда ложился на спину на склоне Лалвара, сплошь заросшем цветами, что растут здесь со времен Великого Потопа, и путешествовал по звездному небу.

Подбежал Джеко, положил голову мне на колени, смачно зевнул: “А-ахм!” и замолк. Теперь он мог позволить себе спать со спокойной совестью.

Мы проживаем жизнь в заблуждении: нам кажется, что деревья, животные, дом, камень, земля не имеют ни чувств, ни разума, но мы ошибаемся. Мы просто забыли их язык.

Уже рассветало. Дом еще пел. Джеко спал, громко сопя. Стонущие от тяжести плодов грушевые деревья просили воды. Я взял лопату и пошел копать канавку, чтобы привести воду в сад.

ЦИРК

Живущие за колючей проволокой молча, без цели передвигались по огороженному пространству либо без сил распластывались на голой, лишенной растительности земле. Хотя стояла весна, обнесенная проволокой территория напоминала пустыню, потому что те, в ком еще сохранилось желание жить, паслись на этой земле наподобие домашней скотины. Зажав в руке щепку или сучок, они кочевали с места на место, чтобы с корнем выковырять из земли каждую проклюнувшуюся травинку.

Длительный голод лишает достоинства даже самого сильного человека. Люди терпели боль и мучения, но долго выносить голод были не в силах.

По разные стороны от колючей проволоки простирались два разных мира: один – мир голода и страданий, другой – мир роскоши и удовольствий. Всякий раз, когда к живущим снаружи приезжали влиятельные гости, внутри колючего ограждения мгновенно чувствовали это и начинали готовиться.

Снаружи, как обычно, накрыли столы, и умопомрачительный запах горячей еды поплыл сквозь переплетение колючей проволоки. По ту сторону проволоки обитатели стали медленно подтягиваться ближе к ограде, чтобы подышать аппетитным ароматом яств. Те, что снаружи, расселись вокруг столов. Заиграл духовой оркестр. Солдаты с автоматами выстроились вдоль колючей проволоки. По другую сторону толпа стояла и смотре-

ла на обилие еды, на пирующих людей. Некоторые, не выдержав напряжения, как подрубленные падали на землю. Сидящие за столами этого не замечали – они шутили и хохотали от души. Всё самое интересное снимали кинокамеры. За колючим ограждением напряженно ждали. Происходящее повторялось в деталях уже не в первый раз. Потому всем было известно, что за этим последует.

Наконец настал долгожданный миг. Два солдата расстелили на земле рядом с колючей проволокой белую скатерть и стали расставлять на ней разнообразные блюда. Толпа за изгородью всколыхнулась. Медленно, шаг за шагом люди стали приближаться к месту, где в ограждении была оставлена специальная лазейка. Они толкались и шумели. Те, у кого еще хватало сил, отпихивали слабых. Духовой оркестр исполнял популярный марш. Сидящие у столов, пресытившись едой, наблюдали за ними, указывали на дерущихся пальцем и хохотали. Борьба продолжалась. Все знали, чем окончится эта игра, тем не менее многие ввязались в потасовку. Некоторые – видимо, из тех, кто недавно попал за ограждение и еще не утратил достоинства, – держались особняком, в драку не лезли и пытались образумить других – голодных, доведенных до скотского состояния, но безрезультатно. Толпа изголодавшихся людей, ведомая инстинктом самосохранения, повизгивала, как стая гиен, и шаг за шагом приближалась к лазейке под изгородью. Наконец с десятком голодающих достигли ее. Они легли на землю и попытались пролезть под колючей проволокой. Борьба становилась всё яростнее. Люди хватали друг друга за ноги, душили соперников, старались отпихнуть тех, кто оказался ближе к лазу, чтобы занять их место. Зрители за столами наблюдали за этой жестокой борьбой и смеялись. Камеры записывали происходящее.

Казалось, в нескончаемом поединке не победит никто. Те, в ком еще сохранились остатки человеческого достоинства, окликали барахтающихся в пыли, убеждали их не доставлять удовольствия объевшейся публике, но их не слушали. Окончательно позабывшие о нравственности знали: те, кто корит и урезонивает их, очень скоро окажутся на их месте. Они прекрасно

знали, чем окончится это представление, но им было все равно. Игра началась, и независимо от собственной воли они были втянуты в нее.

Собаки натягивали цепи, рвались с поводков. Им тоже были известны правила игры и их роль в происходящем. Натягивали цепи и ждали своего часа. Всё четко продумано и просчитано сидящими за столом. Лениво рыгая от переедания, они следят за ходом игры, готовые в любой момент вмешаться и направить ее в надлежащее русло.

После долгой жестокой схватки одному из голодающих наконец удалось пролезть под проволокой и подползти к разнослам на белоснежной скатерти. Не теряя времени он набросился на мясо, сводившее с ума своим ароматом, и, обеими руками хватая большие куски, принялся жадно поглощать его. Публика за столами подбадривала едока громкими возгласами и хохотала, хватаясь за набитые животы. Сгрудившиеся за колючим забором тоже не молчали. Борьба на подступах к лазейке становилась всё ожесточеннее. Мир по-прежнему был разделен на две части, однако казалось, на время все забыли о ненависти, царящей между ними.

Когда зрителям за столами наскучило однообразие игры, настала очередь собак. Инструкторы, отпустив их с привязи, скомандовали “фас!”. Человек, стоявший на четвереньках у скатерти, еще продолжал ненасытно поглощать еду. Псы бросились на него и стали терзать его плоть, едва прикрытую лохмотьями. Однако человек не реагировал ни на собак, ни на людей, подзадоривающих их громкими криками, и продолжал давясь глотать мясо огромными кусками. Собаки рвали зубами его тело. Сидящие вокруг столов аплодировали. Толпящиеся по ту сторону проволоки в азарте кричали вместе с ними. А он повалился на белоснежную скатерть и, уворачиваясь от собачьих клыков, всё еще давился едой. Драка возле лазейки продолжалась. “Е-щё! Е-щё!” – скандировала толпа, и взбешенные псы распались все сильнее. Воздух был наэлектризован. Сидящие за столами, сыто икая, хлопали в ладоши, рычали и лаяли вместе с бешеными псами. Толпа за забором приникла к колю-

чей проволоке и, забыв о своей участи, точно так же ревела и аплодировала. Кинокамеры фиксировали интересные моменты.

Белоснежная скатерть окрасилась кровью покусанного, пятнами слюны и мочи обезумевших собак и чем дальше, тем больше напоминала жуткое полотно сумасшедшего художника.

Мужчина уже перестал набивать рот пищей. Собаки все еще рвали в клочья его истерзанное, уже неподвижное тело.

“Е-щё! Е-щё!” – с двух сторон колючей проволоки ревела распаленная толпа.

Наконец представление закончилось. Инструкторы увели собак. Солдаты с автоматами, выпустив пару очередей в направлении колючей проволоки, разогнали толпу людей с глазами голодных шакалов. Застольная публика равнодушно удалилась. Солдаты принялись убирать столы, тайком засовывая себе в рот объедки с тарелок.

Слезы, хлынувшие из мутного небесного ока, окропили пустыню внутри колючей проволоки и пышную зелень снаружи. Растерзанный уставился в небо широко раскрытыми глазами. В толпе, среди передвигающихся без цели, обессиленных от голода людей, брел одетый в рубище мужчина с кровоточащими ногами. Он непрестанно повторял: “Мир вам!..” Люди скользили по нему равнодушным взглядом. С сучком или щепкой в руке каждый мерил пространство, обнесенное колючей проволокой, всматриваясь в землю в поисках подножного корма.

Владимир Пальчиков

Бессонница

Поэма

Видного русского поэта Владимира Пальчикова читатели нашего журнала знают как переводчика классической и современной армянской поэзии. В этом году в Москве вышел его одномомник “Там, где зима”, куда вошли стихи разных лет и избранные переводы. Поэма “Бессонница” – одна из последних работ поэта, публикуемая впервые.

1

Вплывь верхами леса подвигайся, ночь.

Принеси нам благо, а беду отсрочь.

По полям медвяным,
пустырям, бурьянам –
по Руси по всей
мощь росы рассей.

Из глухой чащобы выйдет Дядька сам –

снять медвежью пробу, честь отдать овсам.

Ополночь, с оглядкой, на край поля – шасьт!

Мягкие метёлки уплетает всласть.

Загребает лапой и урчит притом –

Злак уж больно лаком, с нежным молочком...

Благо – скрытной грече,
искреннему льну,

пению и речи,
бдению и сну.

Благо – птице, зверю, зорьке за рекой.
Родине бесценной – благо и покой.

2

Близкая забота, дальний сенокос.
Распрягли лошадок в шелесте берёз.
Ветер их косынки любит поднимать.
До утра косилки могут подремать.
Погуляйте малость, Кукла, Партизан.
Над костром бывалый булькает казан.
Чуть дымком прихвачен дедовский кулеш –
котелок осилишь и добавку съешь...
Это всё любовью дышит сквозь года –
русское, родное. Чистая звезда.
Хорошо, что были в жизни у меня
беззаветность мира, дружество коня.
Дай тебя, конягу, поцелую – за
ласку и отвагу – в ноздри и глаза.

Тучи на закате – мысли в голове.
С нежностью – о Кате. С грустью – о Москве.
Завозилась птица, колыхнув листву.
Хочется учиться. Хочется в Москву.
Но не выйдет это. Мать больна, слаба.
Батяка взят войною... Так что не судьба.
Как недостижима, сказочна она!
Словно Марс, ну в крайнем

случае –
Луна.

Мглится, тает в дымке, в мареве мирском –
дивная!.. Взглянуть бы хоть одним глазком.
А наступит время, соберёшься в путь –
в ночь перед Москвою просто не уснуть.

Бестолочь предместий, фабрик чад и гром,
сердце не на месте, ходит ходуном.
Вот она: объятая медленный запах!
И уже московский – ветер в волосах.
Воспарил над нею Университет –
с ним я вместе рею, расточая свет!..
Дворник у вокзала мусор ворошит.
Он Москвой накормлен и Москвой обшит.
Сделал передышку, смахивает пот.
Надо же! Счастливец! Он в Москве живёт.
Улицей он ходит вовсе не простой,
ведь по ней ходили Пушкин и Толстой.
Воздухом он дышит не каким-нибудь –
чтоб запеть, Шаляпин наполнял им грудь!

3

Спится и не спится ночью старику.
Тишина, и бродит свет по потолку.
Образы, виденья, населяя ночь,
зыбкой чередою уплывают прочь.

...Сборище гудело, тьму зевак собрав,
кажется, в защиту чьих-то важных прав.
Тут и лохотронщик в поисках лоха',
тут и афедронщик – власть ему плоха:
забижает шкоду, ходу не даёт –
по Тверской парадом задом наперёд.

Конь тащил повозку, не жалея сил,
на толпу блажную молча глаз скосил.
(Вот, сыскалась лошадь в городе Москве,
а всего их, может, даже целых две.
Те, что для парадов, – те осо'бь статья.
О конях попроще нынче вспомнил я).
Крики, беснованье, просто спасу нет.

Что им всё неймётся, вот уж тыщу лет?

Всюду – спесь да поза,
да корысти власть.
Яблоку навоза
некуда упасть!

(Человек отличен от, к примеру, трав
тем, что долженствует. Долг святее прав!).
Подождите малость, глупости сыны,
все проблемы ваши будут решены...
Сколь нужды повсюду – что ж вы без стыда
с бреднями своими носитесь всегда?
Тихо, афедронщик! Защитим сперва
облаков небесных вечные права.
(Лётчик влез в кабинку. Милая, пока!
Над Москвой гоняют нынче облака).
Защитим природы суверенитет,
нежный свиток розы, как сказал бы Фет.
А права заката? Их не ставят в грош,
жутью небоскрёбов даль застроив сплошь.
А права бациллы есть живую плоть,
а потом и вовсе в тлен перемолоть?
Ваш антибиотик, да и весь Минздрав,
тоже суть пограние чьих-то важных прав!
Плёсы от мазута бедственно черны...
А права берёзы? А права сосны?
Листик вдруг сорвал ты, веточку сломил –
просто оттого что мимо проходил.

Пустоши да гари,
край ободран, нищ –
на чужом базаре
бор спустила хищь.
Гонит пыль из мрака
даль, где нет и пня.
А права сайгака?
А права коня?
То-то список длинный!

Чуть повременю,
к морде лошадиной
щёку прислоню...

4

Жуков на Манеже выставил ладонь.
Разве это Жуков? Разве это конь?

Именем прогресса – нет на нём креста! –
конская порода со свету сжита.
Именем прогресса – он всего важней! –
сбросим всё живое с эстакады дней.

...Конь стоит в тумане утренних полян,
в замшевом кармане – дремлющий вулкан.
Думает: “Прогресса не догнать коню.
Ладно. А кобылу – точно догоню...”
Ещё как догонит – что ж он, инвалид? –
и не фордыбачить ласково велит.
И, зверея зраком, дыбясь и горя,
с пыхом да прихрапом вломит почём зря.
(Что же, вожделенью
трудно не подпасть –
даже вошь тюленью
донимает страсть).

Где прожектов – куча, а дела стоят,
конь, мол, не валялся, – люди говорят.
Дайте поваляться, стало быть, коню,
а не то завянет дело на корню.

Бешеный зверюга
грохнется, всхрапит,
резко и упруго
взбросив мощь копыт!

Дёрн измят, изодран, но как раз вот тут
травы ещё пуще выпрут, расцветут.
С боку вдруг да на бок, с этого на тот,
мах точёных бабок, рёбер гулкий свод!
Вздыбленная грива – шип и хлёт волны,
а на пузе жилы как напряжены!

Обегают пузо
с гибкостью лозы –
Волга и Вазуза,
Лена и Янцзы.
Мощные потоки
движутся, поя
жизни зной жестокий,
алчность бытия.

Над поляной – гомон всполошённых пчёл,
а самой поляной – как Мамай прошёл.

5

Кстати о Мамае!
(Отвлечёмся чуть).
Про него в Майами
слышал кто-нибудь?

Нет! Из всех событий от начала дней
наши, ваши – мелочь. Ихние – важней.
Помыкают правдой, славой мировой:
оболги, коль надо, а не то – присвой.
Гитлера, в анналы наглых загляни,
кто урыл – Россия? Как не так! Они.
“Жги жилища русских, сохи их ломай!” –
так своих когда-то наставлял Мамай.
Был в ходу у янки лозунг не слабей,
помните, конечно: “Русского – убей!”
Где поживой пахнет, там для них и рай.
Вот оно, мамайство! Вот где жив Мамай.
Рыщут по эпохам, по материкам,

прибирая чохом то и сё к рукам.
Ушлые повадки, грязные дела:
грабить – беззащитных, бить из-за угла.
Сник простор, победным ором огласясь –
родину чужую слопал англосакс...
Из живого корня нация растёт,
ну а тут известно: беспардонный сброд.
Божья правда, милость? Оттесни плечом:
смысл всего – в наживе. Более ни в чём.
Хиросима: взвился, тешась над бедой,
Сатана в цилиндре, с козьей бородой.
Снова под прицелом православный крест.
Тот, с руин Белграда, дым глаза мне ест.
А уж Змий упился свежим торжеством,
бушево

устроив

крошево кругом.

Сдвинет брови Эйа^{*},

гневом пламенея:

– Ты зачем, дурак,

разгромил Ирак?!

6

Спится и не спится ночью старику.
Тишина, и бродит свет по потолку.
В тёплый омут дрёмы погружаясь на миг,
– Вот, в Москве ночью... – буркнет вдруг старик.
А уж худо-бедно, он в Москве живёт –
днюет и ночует – тридцать лет и год...

А тогда столица, днём намяв бока,
на ночь приючала в доме ВЛК^{**}.

^{*} Одно из верховных божеств шумеро-аккадского пантеона.

^{**} Общежитие Литературного института им. А.М.Горького и высших литературных курсов (ВЛК) на ул. Добролюбова.

Всяческий приезжий краткосрочный люд,
у друзей, знакомых ошивался тут.
Там блажил пиита, пьяный вдрабадан,
приструнить буяна мог лишь Налбандян.
Но не грубой силой, ибо наш Альберт
был и остаётся мудр и мягкосерд.

Череда попоек,
горе не беда!
Я морально стоек
был, но не всегда.
Возгласы, шатанья
в двери из дверей,
и поэтки Тани
жиденский хорей;
и сквозь дым дискуссий,
сквозь табачный чад –
простодушной Туси
глазыньки глядят.

(Истину, мол, ищешь, пылкий полемист, –
и меня заметить уж не поленишь.
Споры-разговоры! Только прок не тот:
истина – в потёмках. Ну а я-то – вот...
Как речист, находчив. Умный! Признаю.
Покосись украдкой в сторону мою).

Вдруг, в разгар застолья, в общество гулён
входит Яндарбиев. Да, тот самый. Он.
Налили стопарик – вежливый отказ.
И ушёл. С концами. Что? Мутить Кавказ?
Той порой об этом кто ж подумать мог!
Впрочем, что-то тлело. Едкий тёк дымок.
Щекотал он ноздри. И с народом нохч^{*}
на наречье грозном совещалась ночь.

^{*} Самоназвание чеченцев.

Вижу: приютившись там, во тьме глухой,
над Аргуном мутным спит аул Гухой.
Тишина и камень. Мир со всех сторон
тишиной и камнем обнят, затворён.

Листья кукурузы
спрятали аул,
ишачок кургузый
стоя прикорнул.

Ветер пробегает, шевелит слегка
под навесом длинным связки табака.
Занялись вершины, заалели все,
ну а мы пока что – в сумраке, в росе.

Солнышком над нами
выхвачен уступ –
на него глазами
показал Юсуп.

Высветив полянку, говорит гора:
сеном запасться, видишь сам, пора...
С утренними снами не расстался дом –
вверх тропа уводит горца с ишачком.

...Как ты, мать-чеченка, старая Даки, –
пережить смогла ли тяжкие деньки?

Подросли ребята,
воля да кураж –
в той руке граната,
а в этой – калаш?

Туча, расточая сумеречный свет,
поглотила солнце, спрятала хребет.
Ты меня не любишь, хмурая Чечня?
Да кого ж любить-то, если не меня.

7

А в Москве светает. День идёт дождлив,
тьма хоть и разбавив, но слегка продлив.

Гром неосторожно обронила высь –
в панике машины гавкать принялись.
Но уже прогулкой занят во дворе
активист с камнями в жёлчном пузыре.

Белый свет сырая прячет пелена.
В ней былое дышит – дали, времена.
Память-скопидомка, скрыню приоткрой –
день полузабытый встанет как живой.
Ух, как жутко, сладко, в стуже и огне
мчит мальчика лошадка на большой спине!
Больно и костисто в копчик бьёт хребет,
а за что схватиться – этого и нет.
Седоком наскуча, тащит, ну и ну,
в лес, да прямо в сучья, прямо в гущину...
Зажило до свадьбы – под коленом шрам.
Эй, ты где, лошадка? Топот по холмам.
 Эй, ты где? В тумане,
 в морозящей рани,
 чуть видна – вдали,
 на краю земли.

Апрель 2011

Эльда Грин

Над головою небо

О, душа, что нищей стала от потерь...

Артюре Рембо

В июне, когда на тротуар ложились штрихи послеполуденного часа, напротив салона красоты “Имидж” вдруг неистовым огнем вспыхнул набитый детскими игрушками и одеждой целлофановый пакет и казавшаяся обезумевшей женщина, плеснув из пол-литровой бутылки бензин на трехлетнего мальчика и высоко подняв его над пламенем, завопила:

– И ребенка сожгу, и себя!

Идущие мимо люди в ужасе и панике бросились отталкивать женщину от огня, силком вырвали из ее рук пронзительно визжавшего ребенка, вызвали полицию. Уборщица Ивет, выскочив из салона с ведром воды, пыталась потушить огонь. Ее примеру последовали несколько добровольцев. Наконец огонь утих. Полицейская машина увезла в участок женщину, ребенка и двух-трех свидетелей. От мокрой черной кучки, оставшейся на месте недавнего пожара, как от неведомого морского чудовища, потянулись во все стороны щупальцы – ручейки, в одном из которых безмятежно плыла уцелевшая пластмассовая уточка...

Народу поприбавилось, все расспрашивали друг друга, но толком никто ничего не знал.

– Ребенка хотела на костре сжечь, как Джордано Бруно! – сказал тучный плешивый мужчина и принялся. – Жареной человечиною пахнет.

– А ты часто человечину ешь? – спросил кто-то.

В толпе хихикнули.

– Шашлыком! – возразил юноша в спортивной майке и шортах.

– За углом шашлычная, вот и пахнет, – объяснила женщина с ярко-зеленым зонтом.

В толпе снова хихикнули.

Ивет, теперь уже размахивая веником и совком, пыталась разогнать собравшихся.

– Мне тут прибраться надо! А то на асфальте пятна останутся! Наш салон как-никак “Имидж” называется!

Одна из клиенток, выбежавшая на шум из салона с клубничной маской на лице, спохватившись, охнула и побежала обратно.

– Тьфу! – брезгливо сплюнул тучный плешивый мужчина, – Да если б моя жена хоть раз вымазалась такой дрянью, я бы ее прибил! Соседка наша тоже, как ни зайдешь к ней, то оранжевая, то фиолетовая, то зеленая...

– А ты не шастай по соседкам! – звонко выкрикнул кто-то из толпы.

Все дружно расхохотались. Пошли и другие шутки, но под натиском Ивет люди стали, наконец, нехотя расходиться, весьма довольные: на зрелище побывали, переволновались да и позабавились...

Тем временем в одном из кабинетов полиции, погруженном в золотистый туман уходящего дня и сигаретного дыма, молодой и шустрый следователь уже допрашивал виновницу происшествия.

– Значит, тебя зовут Машо, а не Маша, – сказал следователь, записывая. – В первый раз слышу такое имя! Машо Бениковна Балян...

Женщина сидела неподвижно, с белым лицом; сажа на лбу и на кончике носа и торчащий над левым ухом опаленный клочок светлых, схваченных резинкой волос придавали ей трагикомический вид.

– Замужем? – спросил следователь.

Женщина не шелохнулась, лишь вздрогнули безвольно лежавшие на коленях руки, сильно пахнувшие бензином.

– Этот бедный ребенок – твой внук? Замужем? Или как? – повысил голос следователь.

Женщина глянула на него снизу вверх, провела рукой по опаленным волосам.

– Похитил он меня, Гаспар... – еле слышно сказала она наконец и горько вздохнула. – Но это не моя вина...

Следователь чуть было не чертыхнулся.

– Знаю я вас! Сговариваетесь, а потом: “Не моя вина”. Влюбилась, небось!

– Да я видеть его не хотела, Гаспара-то! – в сердцах воскликнула женщина, дыхнув на следователя запахом дешевой водки.

– Пьяная?! – вскочил с места следователь, словно сделал великое открытие.

Светло-карие, с воспаленными белками глаза посмотрели на следователя виновато и правдиво.

– И давно пьешь? – спросил следователь.

Опустив голову, женщина уставилась в покрытый старым линолеумом пол.

– Живая, а сердце каменное. Вот и пью...

– Ого! Как о водке, так сразу поэзию развела, – то ли удивился, то ли обрадовался следователь.

Вечерело. Из окна потянул сквознячок, колыхнул висевшую на одном гвозде тусклую необрамленную картину с унылой серой дорогой меж буро-зеленых кустарников.

Женщина скользнула по картине взглядом, и память на мгновение перенесла ее в деревню: вот она, совсем еще девочка, стоит у одряхлевшей изгороди и в ужасе смотрит, как на соседнем дворе огромный черный буйвол покрывает оцепеневшую буйволицу... Страшное всегда представлялось ей потом огромным, черным... И когда спустя годы Гаспар настигал ее и валил где попало – в хлеву, в огороде, у корыта – был тот же черный страх и неистовое желание вырваться и убежать. Но куда? Это “куда” отрезвляло ее, как опрокинутое на голову ведро ледяной воды...

– Похитил, говоришь? – вернул ее к действительности следователь.

– Буйвол – он и есть буйвол, – пробормотала женщина.

– Невменяемая, что ли? – разозлился следователь. – Говори по существу!

– Я же говорю... не было у меня женского счастья...

– Меня не интересует, было у тебя счастье или там любовь! – рассердился следователь.

Женщина потупилась, с минуту молчала, закрыв глаза. Потом сказала тихо и как-то умиротворенно:

– Любовь была, с девяти лет до пятнадцати...

– С девяти лет до пятнадцати? – изумился следователь. – Ну ты даешь!

– ...пока Гаспар не похитил меня, – еще тише сказала женщина.

Не то чтоб она вспоминала, просто в сердце у нее остались навеки лужайка, где она, девятилетняя, пасла гусей, кусты ежевики, из которых вдруг выглянула рыжая голова мальчика с ярко-зелеными глазами и золотыми веснушками, – выглянула и исчезла, и снова выглянула и исчезла... Рыжий мальчик стал появляться в дверях их класса, в коридоре на переменах, в школьном дворе, у речки, где она полоскала белье. Все шесть лет. И хоть он так ни разу и не заговорил с ней, она знала – это любовь!

– Ну ты даешь! – все еще весело удивлялся следователь. Но, взяв себя в руки, спросил серьезно: – Детей имеешь? Сколько?

Сквознячок снова качнул тусклую необрамленную картину, в оконное стекло тяжело ударялись то ли жуки, то ли мухи.

– Семь детей у меня, – сказала женщина и, тяжело вздохнув, снова уставилась в пол.

– Где они? Говори поживее! И подробно! Мне записать все надо.

Женщина заговорила монотонно, без выражения:

– Гаспар в Ереване работу нашел, квартиру получил. Переехали. А после независимости в Россию поехал на заработки. И пропал. Где он – не знаем. Нас из квартиры выгнали, на улице

остались. Детей в детдом определила, пошла уборщицей работать. После детдома мальчики разъехались кто куда, а девочки замуж вышли, слава Богу! Только последняя, Джулик, ребенка нагуляла, бросила на меня, уехала. Сказала, в Карабах. И тоже пропала. Больная она, припадочная...

– Ну и держала бы ребенка! Внук же твой! Не так? – укоризненно сказал следователь.

– Зять выгнал... Своей квартиры у меня нет... Говорит, ублюдка, не хватает, соержу, еще и теща пьет... И выгнал... На улице осталась с ребенком... В подъездах ночевали. Сейчас еще тепло, а зимой?

– Значит, ребенка надо убивать? В детдом бы отдала!

Женщина заплакала.

– Не брали. То одну бумагу неси, то другую. Требовали, что-бы мать явилась. А где ее найти, мать-то?

– Вот ты и решила огонь развести напротив салона среди бела дня! Почему? Объясни! Почему именно там? – заорал следователь, вскочив с места.

Женщина растерялась.

– Не знаю... не могу объяснить... Живая, а сердце каменное...

– Оно и видно! – в сердцах бросил следователь, сел, закурил. Секунды две-три оба молчали.

Неожиданно женщина подалась вперед, заглянула в глаза следователю.

– Я и себя хотела сжечь! – горячим пьяным шепотом сообщила она. – Совсем не страшно – как на празднике. – В расширенных зрачках мелькнула зловещая искра.

Следователь вздрогнул, откинулся на спинку стула.

– Невменяемая, что ли? Это мы, конечно, выясним! Но если ты вмняемая, знаешь, какой срок тебе положен за попытку убийства внука?

– Внук? – спохватилась женщина. – А где мой внук?

– Теперь о нем уж точно позаботятся, – устало, но жестко сказал следователь и, встав, плотно закрыл створки окна.

На подоконнике остались валяться трупики двух жуков, трех мух и осы...

Экспертиза развеяла сомнения следователя: Машо Бениковна Балян была признана виновной. Доминирующим мотивом ее чудовищного поступка был “призыв”. Иными словами – крик о помощи. Поэтому и среди бела дня, в людном месте, у салона “Имидж”.

Вина Машо была переведена на язык закона. Строгие судьи установили срок заключения в женской колонии, равный шести годам. Это время в шесть лет было заточено и в ее душе. До боли ощутимое, оно медленно текло, текло через изолятор, через помещение со ста двадцатью кроватями, где всякий раз кто-то из колонисток бился в истерике; через столовую, где преступницы-поварихи ухитрились готовить еду, смутно напоминавшую домашнюю; через свинарник и свиней, отданных Машо на попечение, где иногда ей начинало казаться, что это она, Машо, отдана на попечение свиньям. Поначалу оглушительный, разнородный хор свиней, особенно во время кормежки, был для нее невыносим. Потом она привыкла. Привыкла и к смрадному запаху свинарни, который въедался в ее одежду, волосы, кожу, оседал в душе, вытесняя остатки светлых воспоминаний.

Еще до суда, находясь на стационарной психолого-психиатрической экспертизе, Машо почувствовала себя, наконец, человеком. После ночевки в подъездах, на скамейках, на асфальте она могла выкупаться, вытянуться на койке, натянуть на себя простыню... И над головой у нее была крыша! “О, Господи!” – шептала Машо. К тому же ей сообщили, что внука устроили в детдом, и по странному стечению обстоятельств именно в тот, где ей отказывали. “Слава тебе, Господи!” Все двадцать четыре дня экспертного обследования Машо пребывала в каком-то странном блаженстве. Глаза ее потеплели, зажглись. Выпросив у санитарки тряпку и проходясь ею по тумбочкам, табуреткам, шкапам, она чувствовала себя порой хозяйкой дома. А белые халаты и спокойные, доброжелательные лица врачей и экспертов внушали ей надежду. На что? Машо не смогла бы ответить на этот вопрос, как и не могла толком объяснить следователю, почему затеяла всю эту “кутерьму с огнем”.

Но смутная, зыбкая надежда упорхнула в первый же день суда, и на территорию женской колонии Машо ступила под гнетом тяжкой вины. Лишь некоторое время спустя удивилась: как могла она попасть в этот омут грязи? Были здесь воровки, грабительницы, мошенницы, проститутки, убийцы, были и осужденные за непонятное для Машо слово “трафикинг”... Такого средоточия испорченности Машо не могла себе и представить.

Воистину мир лежал во зле!

Но странно, всех этих, таких разных, преступниц объединяла некая наигранная бравада: ходили они все каким-то особым образом, значительно и важно, как-то особо горделиво держали головы. И все они изображали святую невинность – роль без вины виноватой исполнялась мастерски. К тому же у каждой находилась тема и для похвальбы, и для жалоб...

Машо не хвалилась, не жаловалась, никого ни о чем не расспрашивала: к чему колупать раны? Хотя, если задуматься, сама она натерпелась больше. Погружаясь в какую-то путаную внутреннюю жизнь и казня себя за то, что натворила своими же руками, Машо уходила в молчание, и если бы не два-три слова, сказанные по необходимости, ее можно было бы принять за немую.

Территория женской колонии больше походила на санаторий, чем на тюрьму, и это нравилось Машо. Корпуса начальства, обслуживающего персонала, заключенных и прочее перемежались деревьями, газонами, клумбами, с весны все утопало в зелени, а в летний зной густая сепия тени манила прохладой и покоем. Ограждена была колония со всех сторон надежно, к железным воротам нельзя было и подступиться, и лишь один путь был свободен – путь к небу. Но небо напоминало Машо о “бескрышной” жизни, о ее скитаниях с ребенком на руках.

– У человека должна быть над головою крыша, – сказала как-то Машо соседке по кровати, морфинистке Алис.

– Была бы у меня крыша, здесь бы не торчала! – по-своему истолковала Алис слова Машо.

На том разговор и кончился.

Но случалось, спеша в свинарник или возвращаясь в корпус, Машо останавливалась, вглядывалась в то же небо и что-то

шептала, словно молилась. На какое-то время она успокаивалась, ни о чем не думала, словно все ее мысли вытряслись. И если перед сном кто-то из женщин затягивал вполголоса песню, Машо пристраивалась на своей жесткой кровати, тихо слушала. Песня всегда казалась Машо птицей, которая кружит над головой, кружит и вдруг взмывает ввысь и исчезает за облаками или падает камнем и разбивается насмерть, и тогда это уже не песня, а жухлый лист, гонимый ветром...

Случалось, после какой-то особенно задушевной песни кто-то начинал всхлипывать, плакать. У Машо больно сжималось сердце. Потом все стихало... Накрывшись с головой одеялом, Машо силилась отключиться, уснуть. Чаще всего память являла ей целлофановый мешок с детской одеждой и игрушками, подаренными ее внуку сердобольными людьми. Машо мысленно перебирала игрушки: безрукую Барби, медвежонка со спаленной шерсткой, вполне пригодные барабан и сине-красный мячик, совсем новую пластмассовую уточку с сизыми крылышками... Машо не удивлялась, если порой уточка как-то совсем незаметно превращалась в самую умную и ручную свинью Тало, и Машо ласкала, ласкала свою любимицу...

Но в призрачные сполохи воспоминаний могли ворваться и лужайка, к которой с детства прикипело ее сердце, гуси, которых она пасла, огненная копна волос, россыпь горящих веснушек, ярко-зеленые глаза... И электрический ток, молнией пробежавший по телу, когда Машо и рыжий мальчик случайно коснулись друг друга у речки локтями...

Лишь к полуночи, погружаясь в пелену небытия, Машо забывалась.

Но утро не снимало ни усталости, ни чувства одиночества. К тому же, проснувшись, она всякий раз вставала перед фактом свершившегося. Не отрывая взгляда от еще темного окна, она ждала, пока развиднеется. В свинарню спешила, не в пример другим колонисткам, суетливо, спотыкаясь: по асфальту, по тропинке, по другой, совсем узенькой, на которой прозябали безымянная травка и одуванчик. И пока Машо шла-бежала, сердце стучало так сильно, что и другие могли услышать. Но в

этот час Машо была одна, если не считать золотисто-бежевой собачки, которая увязывалась за ней. Машо думала: “Везет же мне на рыжих!” – и кидала собачке припасенную для нее еду. Машо знала: по ночам у помойки шеф отстреливает голодных собак.

– Жаль собак! – как-то при разговоре сказала Машо.

– Родного внука небось не пожалела! Чья бы корова мычала...

– отрезала осужденная по пятому кругу мошенница Задоева.

Машо потрясли презрение и ненависть Задоевой и чей-то приглушенный хохоток за спиной. Она не проронила ни слова, сникла, еще больше замкнулась в себе. А вернувшись из свиарни, упала в обморок, узнав, что проститутка Аревик, родив в городской больнице ребенка, схватила его за ножки и шваркнула головкой о подоконник... Придя в себя, Машо как бы в бреду бормотала: “Нет, я не хотела убивать Геворика... спяну... спяну...”

После этого разум Машо словно поделился на две части: одна воспринимала колонию, начальство, охрану, свиарник и прочее, другая была безразлична к происходящему с ней и вокруг нее...

Так проходили дни, проходили ночи. Наступало очередное утро. Иногда бенгальским огнем вспыхивали праздники; нудно, шагом усталого мула, тянулись будни. Отбывшие срок покидали колонию, поступали новые осужденные. Кое-кто, не успев выйти, возвращался, неся на плечах груз еще одной вины. Дважды судимые, трижды, четырежды. Число судимостей доходило у иных до девяти-десяти.

Воистину, горбатого могила исправит!

Машо, как прикрепили ее к свиарнику, так там и осталась, не жаловалась. Никто к ней не приходил, никто о ней не вспоминал...

Прошел год первый.

Прошли второй и третий.

Пошел четвертый...

В июне, с утра, Машо вызвали на комиссию по помилованию. Она не помнила, как умылась, причесалась, натянула на

себя легкую, бирюзового цвета с разводами спецовку-халатик. Морфинистка Алис спрыснула ее из пульверизатора туалетной водой.

– Чтoб свинарней не несло! – объяснила она.

С конвойным Машо дошла до здания начальства, поднялась на первый этаж, просеменила по коридору. У одной из дверей уже собралось десять-двенадцать женщин.

Когда Машо вошла в комнату, члены комиссии листали ее уголовное дело.

– Машо Бениковна Баян... статья тридцать четыре сто четыре, часть первая... – робко доложила она.

– Тихая, скромная, трудолюбивая, ранее не судимая, наказаний нет, три поощрения, – сообщил комиссии красивый, подтянутый заместитель начальника.

Позже Машо почти не могла вспомнить, о чем расспрашивала ее комиссия и что она отвечала.

Добравшись до свиарника, она почему-то почувствовала особую усталость и разбитость. Присев на истертый камень, подумала: “А дальше что?” Посидела так, ощущая в себе одну лишь пустоту. Наконец, вошла в свиарник. Взгляд ее случайно упал на небольшое тусклое, казавшееся грязным зеркало, вделанное в стену над умывальником. И вдруг ее обуял ужас: из зеркала, не мигая, укоризненно-строго смотрела ее мать, Эрикназ. Машо оторопело сказала матери: “Вот она я, твоя много-страдальная Машо”. Взмах руки – ответный взмах. Машо бросилась к двери, на воздух. В глазах вскипели слезы, заныло сердце. Присев в дверном проеме на корточки, закрыв глаза и тихо покачиваясь, она отдалась напоенной зелению свежести. Утренняя прохлада проникала под спецовку, приятным холодком пробегала по спине...

– Отдыхаешь? – раздался над головой мужской голос.

Машо вздрогнула, открыла глаза, с трудом возвращаясь в действительность. Перед ней стоял – она узнала его! – рабочий со стройки нового корпуса и как-то особенно мягко улыбался.

О! Машо не могла не узнать его! Когда она пробегала мимо стройки, рабочий этот постоянно глазел на нее. Поначалу это раздражало Машо, но потом она привыкла.

Машо поспешно встала, отряхнула, оправила подол.

– Не похожа ты на других, неприкаянная какая-то, – сказал как бы в раздумье мужчина и снова улыбнулся.

Дерево, под которым он стоял, мирно качало ветвями.

– Уйди! – глухо сказала Машо.

Мужчина виновато опустил голову.

– Думаю о тебе... все время. Поговорить надо... – почти просительно сказал мужчина.

Был он широк в плечах, с проседью в темных волосах. Загорелое лицо выражало и добродушие, и какую-то внутреннюю силу.

– Уходи, говорю! – повысила голос Машо и, быстро войдя в свинарник, прикрыла за собой дверь.

Мужчина толкнул дверь, пытаясь войти. Из-под его ног прыснула кошка.

– Поговорить надо! – повторил мужчина настойчивее. – Женюсь я на тебе!

– Уйди! Убирайся! – не помня себя крикнула Машо и, схватив лопату, замахнулась.

Мужчина отпрянул, попятился назад.

– Упрямая! – сказал он в сердцах. – Но я тебя уломаю! – и быстро, не оборачиваясь, пошел в сторону стройки.

Бросив лопату, Машо опустилась на табуретку и залилась бессильными слезами.

– Буйволы! Буйволы! – причитала она.

Ей вторил визг проголодавшихся за ночь свиней.

Но к предвечерним сумеркам Машо постепенно успокоилась.

В помещении, еще до отхода ко сну, бродяжка и воровка Тася Юлтыева, невесть когда и как попавшая в Армению, затынула низким грудным голосом:

*Когда б мне дали золотые горы,
И реки, полные вина,
Я горы пропил бы, ей-Богу,
А реки выпил бы до дна!*

Протяжная старинная песня и бередила душу, и умиротворяла.

Машо, присев на свою кровать, тихо слушала. “Господи, – вдруг вспомнила она мужчину со стройки, – как это он сказал? “Поговорить надо... Женюсь на тебе...” Разве может она кому-нибудь понравиться? Да из нее же жизнь уходит по каплям, и лицо мертвое, как у матери в гробу... Машо горько вздохнула. “Знаем мы вас, обманщиков, – вознегодовала она, – знаем мы вас, буйволов!”

Она вспомнила было повадки мужа, но неожиданно для себя обнаружила, что начисто забыла его имя. Начиналось оно на “Г”, это Машо знала точно. А дальше? Гегам? Нет! Гагик? Нет! Геворг? Нет! Гарегин? Нет и нет! Имя рыжего мальчика небось помнила – Толик! Но то был крик души, который она называла любовью!

Несколько женщин, коверкая русские слова, подпевали Тасе тоненько и неумело:

*Когда б мне дали золотые горы,
И реки, полные вина...*

“Гаспар! – вспомнила вдруг Машо имя мужа – Гаспар!” – и передернулась.

Спала Машо, вопреки обыкновению, спокойно. Ей снился золотой дождь.

А через пару дней ее вызвал к себе сам начальник колонии. У Машо сердце оборвалось... “Это из-за того мужчины со стройки! – подумала она. – Но ведь я его прогнала, чуть лопатой не убила!”

И снова она не помнила, как оделась-причесалась, и снова морфинистка Алис sprыснула ее туалетной водой, “чтоб сви-нарней не несло!”

На сей раз Машо поднялась с конвойным на второй этаж, просеменила по коридору, в приемной поздоровалась с секретаршей. А в голове стучало: “Позор! Позор!”

Конвойный осторожно приоткрыл дверь кабинета.

– Пусть войдет! – услышала Машо голос начальника колонии.

Она вошла, робко, дрожащим голосом доложила:

– Машо Бениковна Баян, осужденная...

Начальник колонии голубоглазый, загорелый, сидел за широким письменным столом и смотрел на Машо скорее добродушно, чем строго.

– Подойди сядь! – сказал он.

У окна в большом стеклянном ящике шевелилась кобра. Все в колонии знали: за ней был особый уход. У стены справа в роскошном аквариуме плавали разноцветные рыбки. За ними тоже был особый уход. Дверь в смежную с кабинетом комнату была открыта, и Машо догадалась, что именно там, согласно молве, находилась коллекция всяких кинжалов, сабель, пистолетов и знаменитое ружье, из которого шеф колонии отстреливал по ночам голодных собак.

– Сядь! – повторил начальник.

Машо подошла к столу, присела, сиюсь унять внутреннюю дрожь, аккуратно сложила на коленях руки.

– Могу тебя обрадовать, Машо Баян! – сказал начальник колонии и поднялся с места. В глазах сверкнула улыбка. – За безупречное поведение и старание ты освобождена досрочно! – улыбнулся он теперь во весь свой пухлый рот.

Машо не шелохнулась.

– Ты что? – удивился начальник, заметив ее немигающий взгляд. – Не поняла? Свободна ты! Свободна!

– Да, – растерянно-отстраненно проговорила Машо.

– Ступай собирайся! – сказал начальник и, выйдя из-за стола, бодряще похлопал Машо по плечу.

И Машо сорвалась с места, побежала.

Собираться ей помогала морфинистка Алис.

– Завидую тебе доброй завистью, – сказала она.

– Семерых детей родила... и муж есть... где-то в России, – сказала Машо, – а идти некуда.

– Видела дурочек, но такой, как ты, не встречала! – воскликнула Алис. – По мне – лишь бы за ворота выйти! А там – сама себе хозяйка!

– Никто ко мне за четыре года не пришел. Позабыли, небось...

– Утрясется, – сказала Алис. – Вот газеты, может, постелить где... Пачку сигарет кладу и спички. Закуришь – все легче станет...

– По Тало скучать буду, да и по другим свиньям тоже, – сказала Машо. – Как дети они мне...

– Я и говорю, – оживилась Алис, – сколько лет ты в свинарне ишачила! Там же высокий азот! Вначале меня тоже туда пихнули. Я неделю еле выдержала. И все! Заболела!

– Жаль Тало... и рыжую собачку... Как бы и ее не пристрелили...

– Тебя-то никто не пожалел! Даже муж родной!

– А ведь похитил меня!

– Да ну их, мужиков! – заключила Алис и выругалась.

До ворот Машо шла неторопливо, чинно. Ворота, впустившие ее четыре года назад на территорию колонии, раздвинулись, выпустили на волю. Выпустили, словно вытолкнули.

Машо пошла под лучами июньского солнца, сжимая в руке узелок с хитрыми пожитками. Впереди нее бежала дорога. Огромные, толстоствольные деревья, названия которых Машо не знала, обрамляли дорогу с двух сторон, образуя длинную, бесконечно длинную аллею. Машо шла медленно, будто на ощупь. Смерд преступности остался витать над колонией. А тут, над головою, и небо было другое, до боли ослепительно-голубое, и запахи нагретой солнцем зелени и земли тоже были другие: они кружили голову, и Машо казалось, что сама она стоит на месте, а дорога несет ее, несет... Мир за оградой представлялся ей волшебным ковром, на который стоит лишь ступить, и тебя унесет в неведомое... Машо не пыталась даже осознать, отчего она испытывает это незнакомое ей дотоле чувство.

Мимо проехала полицейская машина – наверное, повезли в колонию новую преступницу. Машо подумала об этом как-то отстраненно, безразлично. Отрешенная, она словно была погружена в неправдоподобно красивое небытие.

В проеме раскидистых деревьев большой пористый камень с плоским верхом будто приглашал сесть. Машо присела. Мелькнула бабочка, как белое пёрышко, как атласный лоскуток. Машо поразила ее чистота. Слева от аллеи, внизу крутого склона, змеилось шоссе, чуть поодаль зеленел скверик, веселила глаз пестрая бензоколонка. Машо смотрела, как проносятся машины, снуют люди. Она словно парила над ними. Это был другой

мир, от которого она отвыкла, к которому была непричастна. А сколько миров было в ней самой?! Но их уже нет: деревня, лес, речка, конопатый рыжий мальчик, Гаспар, дети, работа... Колония тоже была еще одним миром, который, как и другие миры, вспыхнул и угас...

Взгляд ее задержался на маленькой девочке в желтом платице, растерянно метавшейся у шоссе. Машо показалось, что девочка плачет. “Потерялась”, – подумала Машо и в первый раз за все время, что вышла из колонии, почувствовала себя отчаянно одинокой, отвергнутой всеми. Но не было в ней ни горечи, ни страха, хоть на глаза и набежали слезы, скатились по щекам, высохли...

Еще две машины проехали мимо, наверх, к колонии, и обратно. Кто-то помахал ей из кабины рукой. Или ей показалось? Неугомонные белые бабочки, эти белоснежные пёрышки-лоскутки, исчезли. Стало как-то сразу темнее. Или тучка заслонила солнце?

Машо встала с камня, отряхнула подол юбки, пошла. Скоро кончится день, станет темно.

Припозднилась она! А куда – не знала...

Спускалась Машо к шоссе торопливо, но на повороте, в ивянке, скамейка из неструганого дерева манила покоем. Машо подошла, нагнулась, расстелила на скамейке газеты, аккуратно разгладила их, нашарила в узелке сигареты и спички, легла, приспособив узелок под голову, как подушку, достала из пачки сигарету, чиркнула спичкой, затянулась.

На небе стали выступать звезды. Машо показалось, будто это не она, а кто-то другой лежит на скамейке, или она попала в какой-то неведомый ей, нереальный мир... Машо, снова закурив, смотрела, как с неба медленно падают звезды. Она догадалась, что это веснушки рыжего мальчика, Толика, чье имя ей не забыть вовек. В скольких мирах она побывала и в скольких ей еще предстоит побывать? Машо явственно, всем своим существом почувствовала, как нить ее жизни, растянувшись до предела, повисла на волоске.

Потом в сумрачной прохладе вдруг вспыхнул огонь, вмиг охватив всю скамейку. Машо чувствовала жар, видела россыпь горящих веснушек... Она улыбалась.

Чуть позже со стороны шоссе кто-то бежал на огонь. Но все уже горело: скамейка, Машо, ее нехитрые пожитки, ее жизнь... Горело все, и рассыпалось в прах, и уносилось в небытие...

Из цикла “Приложение к каталогу выставки”

Артур Андраникян. В мирном ожидании беспокойный женский портрет

Для женщины одного мужика много, двух – мало.

Армянская пословица

Почему она отправилась ждать его в это причудливое, как сновидение, место? Ведь сновидения исчезают, стоит только открыть глаза! С чего она решила, что он придет туда и полюбит ее навеки? И не будут ему помехой ни ядовитые ящеры и драконы, ни превратившийся в умильного светлячка безухий заяц, ни черно-бурый всадник с пистолетом в руке, ни странные существа в голубых пачках, гордо несущие на своих длинных шеях головы очковых змей, ни похотливый бизоно-медведь, ни вообразивший себя богом нищий старец, ни снующая под ногами форель...

Не говоря уже о ветре, треплющем ее светлые длинные волосы, толкающем в спину, резко, безжалостно.

Она падает, разбивая колени в кровь.

Почти не ощущая боли, она вслушивается в шум ветра, силась уловить иные звуки. Ее слегка знобит – от ветра ли, от беспокойства ли мирного ожидания?

Ей чудится, будто кто-то медленно приближается: треснула сухая ветка под ногой, к запаху ветра примешался мужской дух. Она чувствует на своем озябшем плече широкую теплую ладонь, слышит сокровенный шепот. Ее губы повторяют: “Единственный мой”...

Но внезапно ветер стихает, и уже нет ничего: ни теплой ладони, ни сокровенных слов...

Она сидит на земле, поджав под себя разбитые в кровь ноги, и ее красное одеяние, постепенно темнеющее с закатом солнца, сливается наконец с гигантской тенью ночи.

В кромешной темноте она продолжает ждать, и космическая влага впитывает в себя девичий аромат.

Меж тем, почуяв добычу, оживляются ядовитые драконы и ящеры, черно-бурый всадник с пистолетом, умильный безухий заяц-светлячок, терзаемый страстью бизономедведь и все остальные заполонившие то причудливое, как сновидение, место, где в мирном беспокойстве ожидания...

Но зря уже нарождается и сновидение вот-вот исчезнет...

Тигран Абрамян. Варвары в Элладе

На твой безумный мир

Ответ один – отказ.

Марина Цветаева

Женщина смотрела на свое отражение. Лучи солнца запутались в прядях волос, и зеркало повторяло их золотое свечение. Белая легкая рука скользнула по терракотовому одеянию с широкой вышитой каймой и застыла под высокой грудью, у сердца. Снаружи донесся странный шум. Женщина повернула

голову, и в зеркале отразился грациозно-гордый изгиб шеи. На какой-то миг все затихло. И вдруг, исказив лик женщины, зеркало разлетелось вдребезги.

Дым и пепел поднимались к небу и заслоняли солнце, и на земле становилось холодно и темно, несмотря на костры, на которых варвары сжигали ни в чем не повинных греков...

...греков, живших на благословенной земле и сказочно богатых, имевших Олимп, Парфенон, философов, стихотворцев и еще многое, что и вообразить себе не могли варвары, которых греки называли “бормочущими”. Обуреваемые черной завистью, варвары, вооружившись саблями, топорами и дерзостью, как саранча ринулись на Элладу, в слепой, дикой ярости уничтожая все, что встречалось на пути: людей, скот, птицу... Это был необъятный общий гроб с детьми, коровами, лошадьми... И кровь женщины смешивалась с кровью петуха...

Дым и пепел поднимались к небу и заслоняли солнце, день, похожий на ночь, был долог, а ночь бесконечна; посаженные на кол греки умирали в муках, и стон их сливался со стоном земли...

...благодатной земли, которую покрывал теперь смрад тлена. Смрад тлена витал и над морем, в котором варвары топили греков.

О, боги Олимпа – свидетели нашествия варваров на Элладу!

...варваров, во все времена убивающих, грабящих...

О, Иисус Христос – немой свидетель резни армян!

Стены Ванкского собора в Тифлисе хранили память о беженцах, чудом спасшихся от турецкой сабли. Как и многие святые убежища, современные варвары сровняли с землей и Ванкский собор. Но плач и причитания еще не угасли, еще маячит перед глазами необъятное армянское кладбище, тот общий гроб, над которым склонились души греков, погибших в Элладе от руки варваров, уничтожавших все, что попадалось им на пути: людей, домашних животных, птиц...

...И смешивалась кровь женщины с кровью петуха...

ЮРИЙ АВЕТИСОВ

Одесские небылицы

*Светлой памяти университетских друзей
Карена Сергеевича Сапарова
и Бориса Михайловича Элькинда,
навсегда ставших родными*

Юрий Донаганович Аветисов родился в 1937 г. в Ростове-на-Дону. В 1955-60 гг. учился на филологическом факультете Ереванского государственного университета, долгие годы был журналистом (Государственный комитет по стандартизации). В 1975 г. переехал в Украину, где также занимался журналистикой. Ныне на пенсии.

Предлагаемые рассказы – одна из первых публикаций автора.

КАК ПРОКЛИНАЛИ В ОДЕССЕ

Мужчина, если так разобраться, – серое, слабоумное, неприятное создание. Ни тебе что-нибудь бурно вообразить и выкроить себе удовольствие, ни тем более до бесконечности его растянуть и обцмокать. Дать по морде, получить по морде – утер красные сопли, как ничего и не было. Скукотина.

У женщин тоже стрясается, но неумышленно, жалко и как бы беспомощно. Вся бедная, белая как простынка, губы дрожат, вид растерянный, в руке бесхитростно зажат чей-то шиньон, а хотелось всего-то попортить кому-то прическу, на устах упрек: “В этом доме бывает когда-нибудь мужчина?” А это значит, что лаяться с соседями обязана она, а загрызть должен ты.

Бывает, но крайне редко.

Поднять хай до небес было чисто одесское романтическое женское занятие, где Кашеевой иглой – проклятья. И не абы какие – корявые, грубые, зычные, а колоратурные, беспамятно восторженные. И бывало, так закричатся, что даже замороженные слушательницы вынуждены выйти из сладкого оцепенения и бросаться разборонять. Или же возникнет в окне чья-то хмурая физиономия:

– Паразитка! Всю неделю доканывала – кефаль, кефаль. Иди займись рыбой, уже жабры чернеют!

И спорщица, спохватившись, убегает.

И надо признать, никакие Высшие Бестужевские курсы или Институт благородных девиц ничего для этого практически не дают, как не дает второго Пушкина или Толстого самое привилегированное литературное учебное заведение. Простая, малограмотная, необузданная, горластая домохозяйка могла прослыть большой поэтессой в своем деле – одной такой на весь этот и так уже довольно шумливый город.

Как любящая мать, обкупывая ребенка, не оставит на нем ни толики кожи, чтоб та ей не скрипнула под рукой торжествующей своей чистотой, так вдохновенная проклятица не оставит на вас ни одного уголка живого. Она столько вам насулит, что, если бы оно, упаси боже, было кем надо услышано и если в такие дела бы впутывались силы небесные, – вы с высохшим языком и руками, с опухшей кривой рожей, весь в волдырях, болячках и с трахомой проваливались бы на месте сквозь землю, и здесь уже каким-то чудом подцепив себе еще холеру и окончательно парализовавшись, камнем бы шли на дно моря, обязательно Черного, и там, не успев перевести дух, начинали еще гореть синим пламенем. И, уже слабо дымясь, полуобугленный,

тихо радуясь, что все плохое, слава богу, уже, наконец, позади, слышали б, как сверху несется еще экзальтированная здравица:

– Чтоб вы прожили до ста двадцати лет и ни дня сухой корки не видели! – и вам жутко прожить хотя бы еще неделю.

Так проклинали раньше в Одессе, а наутро интересовались:

– Как вы мне здоровы, сердце? – и готовы были поделиться самым последним.

Люди стали черствыми – эх, эх! Ни тебе красиво сказать, ни тебе ответить так, чтобы уже не покраснеть до корней волос. Вбили одно себе в голову: деньги, деньги!

КАК РАЗДЕВАЛИ В ОДЕССЕ

Раздевали везде и всегда, если вещи на вас безбожно не плачут. Как вы сами себе подозреваете, ночью, в потемках, на улице никто никого еще не одел. Раздевали в Ростове-папе или в Батайске, и, поверьте, на это было больно смотреть и противно слушать. Но так бархатно, так галантно, а главное, так обязательно, как раздевали в Одессе-маме, вы это больше нигде не встретите. Могло показаться, что вы в оперетте и перед вами опытный услужливый гардеробщик.

“Сбросьте это ярмо, вы прямо весь преете. Дайте коже немножко дышать, – говорилось вам. – И чтобы было – ша! Не портите мне музыкальный слух”. И с плеч смахивалась душная енотоя шуба.

“Держи голову в холоде, а ноги в тепле. Скажите, дурак такое мог бы придумать?” – уверяли они, отбирая злокозненную по народным приметам меховую капелюху или каракулевый “пирожок”.

“А это что за арестантский браслет? – сердились они, снимая его вместе с золотыми часами “Пауль Буре”. – Почувствуйте себя на воле. Господь так положит – еще насидитесь”.

“Как это не жмет, когда жмет кошмарно. Вы же все время неприятно гримасничаете, – убеждали они, подступая к

штиблетам в сияющих новых галошах. – Дайте я вам помогу. Уф-ф, ой! Если это не кремлевская тайна, – когда вы в последний раз мыли ноги?”

“Ну это совсем другой компот! – радовались они за вас, избавляя от последней оскорбительной принадлежности – костюмной пары. – У вас прямо задиристый спортсменский вид. Дай вам сейчас коньки или лыжи, так вы же начнете бить все рекорды как ненормальный”.

Под конец вас придиричиво оглядывали, как облущенный початок, и оставались собою довольны. “Нательное и галоши – пусть будет ему. Должен же человек в чем-то фасонить”, – расщедривались они и делали быстрый аллюр. Ну чем вам не оперетта, чем не “Свадьба в Малиновке” с самим Михаилом Водяным!

Нет, конечно, вы могли бы себе крикнуть: “Караул! Грабят!”. Но в близлежащих кварталах раздастся топот, как на розыгрыше “Большого дерби” в Лондоне, да испуганно свистнет полицейский турчок. И – тихо. А вы дрожите как цуцык. На вас не оставлено даже родимого пятнышка.

О росте гоп-стопа в Одессе дурацких вопросов не задают. Хоть все – относительно, а у нас это обязательно между “очень плохо” и “хуже не бывает”, точку ставить еще рано. Вам рассмеются прямо в лицо: с чего ему расти, когда он сроду не падал. Так что же, в Одессе жили неблагонамеренные люди? Бросьте вы! Просто в Одессе это считалось – интеллигентное занятие. Сейчас этим пробавляется отпетое хулиганье. Исчезла культура обхождения. За десять заплаканных гривен с вас сделают Кукрыниксу. И можете считать, что еще по головке погладили, только что пряника не дали.

Сентиментальность – лекарство от черствости, и ностальгировать можно по чему угодно. Даже по гоп-стопу. Ну как тут о добром старом не взгрустнешь?

БИЗНЕСМЕН

– Вы видите того носатого парня у яичных лотков? Это мой сын. Сидит как сыч. О! Оживился. И знаете почему? Под ложечкой засосало. Сейчас купит хот-дог с пепси – папа заплатит. Ну, а что я говорил?

Ходи до яиц, курортник! Не видишь, старушка тебя выглядывает. Таки десяток берет.

Я говорю ему: “Сынок, тебе не жаль этих яиц? Это надо послушать, как стенают куры, когда несутся, и видеть, как мордует себя петух, чтоб обеспечивать дело бесперебойно. Через неделю-другую эти яйца будут размазывать тебе на лице. Ты же знаешь наших людей. Начни зазывать, как я прошу! Яйца целебные, новая тетеревиная порода леггорн, излечивает что ни возьми”.

Скажите, я плохо его учу? Если человеку знать, что это ему спасение, так хуже, чем есть, ему никогда не будет.

У других дети как дети, хоть вообще – не дай бог! Знакомые уверяли: “Какой у вас удачный ребенок!”

В пять лет он произнес: “Ма-ма”. Жена выучила наизусть благодарственную молитву. Мы поняли, что бог миловал, он – не вундеркинд. На каждую его школьную четверку мы смотрели, как на шальную зарницу – вспыхнет и поминай как звали. Поэтому когда, слава богу, все кончилось, никто к нему не приставал: “Будь Ломоносовым или Ботвинником”. Но кем-нибудь быть все-таки надо? Пилотом или матросом – он доканается от медвежьей болезни. У него страх высоты и водобоязнь. Банковским служащим? Нам сразу опишут имущество и выбросят на улицу. Тогда – строителем! Но жена заартачилась: “Ни за какое червоное золото! Или я не знаю свое дите как облупленное? На него обязательно упадет лебедка”. У нас начинает стучать в висках. И тут жена у меня спрашивает: “Скажи, ты хоть одного голодного фотографа в жизни встречал? Во-первых, это – деньги. Во-вторых, – сумасшедшие деньги. Наш сын создан для такого дела!” И я устраиваю его в модное ателье.

Сына там учат и учат, учат и учат. Пока ему дали точку на натуре со старой облезлой обезьяной, я оставил им все, что нажил на дверных глазках по линии ДОСААФ.

Вы думаете, мы не радовались? Наш сын в нарядном костюме, по выходным у него маленькие очереди. Дома мы ходим на цыпочках. Ванной с уборной пользуемся со спешкой – сын там проявляет пленку. Пришла пора отдавать карточки, и я вижу взбесившихся людей. Они прямо кричат: “Если вы кубист или черте-кто, так сразу бы и сказали. Вы можете показать, где здесь я, а где эта уродина? Что значит контраста нет, освещение слабое? Смотрите пожалуйста, всем светит так светит, а этому аферисту – нет!” Другая лезет прямо в лицо: “Чем вам понравилась так моя бородавка? Я кроме нее никого не вижу. А ретушь на что, недоносок?”

Я пропадаю на точке. В горячих случаях возвращаю деньги. Скажите, так могло долго продолжаться? Люди после перестройки как цепные. Я говорю: “К едрене фотографа! Оставь в покое захезанную обезьяну, можешь, под конец, сфотографировать нашу семью, чтоб я уже знал, за что меня разорили”. В семье воцаряется мрак и уныние.

И тут появляется этот мед. Дешевый, а главное, темный как деготь. Чем уже кормились эти несчастные пчелы, возникали пугающие догадки. Мы затаили дыхание. Сын разносит его по соседям, и вид у него очень довольный. Конечно, мы спекаемся от любопытства: когда он успел стать пасечником? Кто надумил? Жена говорит: “Не унижай сына допросами. Значит, у мальчика есть жилка. В Америке только так становятся миллионерами”.

А сын все носит и носит. Жена прямо светится. В одном могу поклясться – мед был сладкий. Сначала от него царапало в горле, потом начинался удушливый сухой кашель, затем в нем обнаружили небывалые свойства: он по-особому крепил желудок, а усыхая, становился похожим на древесную кору.

Соседи перестали нам кланяться. Тетя Фира, носившая сына еще маленьким на руках, демонстративно, при людях плюнула в нашу дверь. Я испугался и начал возмещать убытки ближай-

шим соседям. Жена перестает светиться и видит во сне сына, так безжалостно покусанного пчелами, что глаз не видно.

Сон оказался вещим. Пасеку “Тари-тари-тари” в цыганском дворе, где качали мед, накрыла милиция. Пчел там видели исключительно в мае у себя на шелковице и ульями себя не морочили. Милиция посмотрела на сына сквозь пальцы. Зато за него ухватились как за защитника отечества.

Жена перестает спать. Я слышу вздохи и стоны: “Все, мы его потеряли. Шутка ли, армия? Я, что ли, не знаю своего ребенка? У него взорвется прямо в руках”.

Я объясняю военным: “Родные вы мои, оно вам надо, мой сын? Спросите меня, чем он только не болел. У других ветрян-ка, а у него коровья оспа. У кого-то катар, а у него уже старческий бронхит. Часть, где он начнет служить, не будет вылазить из карантина. Наша армия покрыла себя неуязвимой боевой славой. Зачем чтобы кто-то мешал ей гордиться? Что нужно бойцу в мирное время? Бравая выправка и молодецкий шаг. А посмотрите, как он ходит. Нет, если вы набираете в Отдельную церебральную роту, это меняет дело. Там на него будут равняться”.

Я вижу, что мои слова на них не действуют. Я отдал им все, что заимел от рыночных отношений на очках “Шварценеггер”, которые пользовались широким спросом, но плохо держались на носу. И беспомощно развел руками.

А что делает мой сын: и-го-го-го-го и понесся. Дискотеки, жвачки, кока-колы, синеглазки. На уме – записать диск. Ночью он где-то пропадает. Днем скребет на гитаре и издает такие кошачьи вопли, что соседи приходят в полное удовольствие: “Это тебе, пакосць, за мед”. Им кажется, что мы его за что-нибудь истязаем.

Жена в панике:

– Ты посмотри, что он творит?

– И что он творит? Ходит вперед пятками? Или чешется задней ногой за ухом, как собака?

– Нет, так можно кричать каждый день? У него тромб сорвется, что делать потом? Ты посмотри, что от нашего сына оста-

лось – один нос и глаза. Хотя и раньше было ни на что не похоже. Уже кашляет, как хрыч. Эти заразы его атрофируют. Мне что, не нравятся внуки? Сделай ему нотацию.

Я говорю ему: “Может, мы с мамой прошляпили в тебе Вита-са? Я знаю? Но когда ты поешь, тебя хочется задушить с первой же ноты. И последнее. Целовать клубничные губки – это умеют все. Посмотри, я тебе очень похож на ангела? Так я же и говорю. Сначала – дело. Потом – босячки”. И он начал продавать яйца.

Ты посмотри на него: ты что, горем торгуешь, негодник? Улыб-нись. Раскрой рот. Буркни хоть, как я учил: “Яйца леггорн. Чудо селекции. Омолаживают все на свете”. Кто знает, что это как раз те чумазые белые совхозные куры, которых никакими страхами не отогнать от навоза? Но кому я это говорю? Асфальту?

Уже присматриваю ему новое занятие. Голова прямо пухнет. Устрой на карусели – там могут побиться дети. Выучи на врача – “жемчужина у моря” погрязнет в похоронных процессиях. Сделать учителем? Но кто это, слышите, устраивает собачью жизнь единственному ребенку?

Но когда долго думаешь, выбор обязательно найдется. Что-нибудь портить тоже считается делать. Надо только, чтоб это было удачно для кармана.

СТАТЬ ОДЕССИТОМ

(буффонада)

– Есть одна барышня! – восторженно сказала тетя Ци-ля.– Пышненькая, эффектненькая, куча знакомств.

– Ее знают даже в одесском военном гарнизоне. И не только в лицо, – с улыбочкой добавил брат Лева.

– А что такое, – вскипела тетя. – Она годами ведет там прод-маг. Зато у нее жизненный опыт и еще кое-что за душой. Яша, не слушай пустых людей. Ты будешь как у бога за пазухой, даже еще завидней. Ей нужен уживчивый мужчина, тебе нужна

одесская прописка. Лучше партии не бывает. Не надо даже смотреть, счастливы ли!

И вскоре я сидел на собственной свадьбе и с тревогой рассматривал невесту. Нет, насчет пазухи, если смотреть с другим интересом и другими глазами, тетя Циля ничего не преувеличила. Это была не пазуха, это был – вальс “На сопках Манчжурии”! Все остальное тому соответствовало.

На столах было что покусать и чем посолонцевать. Выпивка лилась ручьем. Гости, в большинстве военные, с головой ушли в еду, издавая щекочущий звук, как будто ходят по слякоти. Но разве я мог думать за трапезу.

– Горь-ко! – орал раз за разом один лысый майор.

– Горь-ко, горь-ко! – подхватывало воинство. И я сразу чувствовал у уха теплое сопение. Но тухло улыбался, делая вид, что опять ничего не расслышал.

– Наш Яша очень застенчивый, – заливала тетя Циля иссохшей старухе, родственнице невесты.

– Может, ему еще рано жениться? – сердито спросила та.

– Не говорите. Ему еще нет и пятидесяти, – согласилась тетя и любяще посмотрела в мою сторону. Она была второй, после лысого майора, кого я, не оттягивая, задушил бы на своей свадьбе.

Женщины, конечно, шушукаются, и, как водится, почти вслух:

– Сидит, как из тины достали. Одно б целовался.

– Гляньте, угри, как семечки, живого места нет на лице. А посмотрите на Зину. Букет!

– Красавец! Кусок в горле застрянет.

– А я вам говорю: так всему улыбаться – очень нехороший знак.

– Какие еще знаки! Сами не видите, сидит – не шуршит. Уже кушать не просит. Такого раз в год в спальню не затолкаешь. А хорони на свой счет. Бедная Зизя!

“Ой, дурака кусок! Ему приспичила Одесса”, – начал я поспать голову пеплом. Но ангел, который, чтобы вы знали, всегда у нас за спиной, уже протягивал мне спасительную руку.

Вдруг я заметил, что сидевший напротив захмелевший верзила, прапорщик Федя Карасик долгим, столбнячным взглядом вперся в мою нареченную. Он крикал, причмокивал, с намеком жестикулировал, храбрея от стопки к стопке. Чтобы те его искренние, прямодушные намерения хоть отчасти сбылись, то – бедная женщина.

Зизя конфузливо улыбалась, по-девичьи теребя кукурузные локоны. В глазах ее прыгали кошачьи искры. Они уже перемигивались. Я понял, что на первое время у меня есть на кого положиться. Во мне вспыхнул аппетит. Но на столах уже был бурелом. Но много мне надо? Кое-что я выковырял из чудом уцелевшего, хлопнул рюмочку и зажил жизнью: “Сидит – не шуршит”. Будьте мне тихо!

Время – птица. Гости уже лихо косили десерт. И тут грянули песню: “Когда я на почте служил ямщиком”. Карасик подпевал с болью, страдальчески мотал головой, дернул под кручину фужер водки и дважды нырнул носом. Я всполошился: “Федя, ты не имеешь права! А как же я? Встряхнись, друг!”

Но разве тот слышал мой душевный призыв! Мыча и всхлипывая, он жменями таскал с блюда мелитопольскую черешню и уже не выплевывал косточек. Ямщицкая песня его испепелила.

Долго ли, коротко ли, моя нареченная выросла над пирующими: “Благодарю, дорогуши, что почтили вниманием наше скромное семейное торжество”. В ее глазах прочел я брачное нетерпение, а стало быть, – приговор себе. У меня высохли слюни.

Расстроенные гости, сбиваясь со счету, лихорадочно пили – на посошок. Задрав голову, Карасик спал с открытым ртом. На губах его трепыхалась белая ватка. Траурным взглядом я обвел присутствующих и не нашел ему замены – он был самый “с огоньком” на моей свадьбе.

Федю я потерял. Тетю Цилю давно увел Лева. Она уже не могла без укола вынести моего счастья. Я сидел пригорюнившись, как стынувшая ворона.

И вдруг, хотите верьте – хотите нет, я услышал повелительный Глас Свыше. Чтобы при этом был гром или блеснул огонь небесный – не буду сочинять. “Яша, встань и ходи!” – голосом

Левитана возгласил кто-то. Или я глупый? Если с тобой заговаривают уже Оттуда, зачем их сердить? Я сразу вскочил и быстро пошел, как по извинительному делу. Глас давно смолк, но мои ноги неслись как угорелые.

Наутро тетя Циля отправилась сказать невесте: “Зизя, ты умница и все поймешь. У нашего Яши пока не горит прописываться в Одессе, у вас с ним еще будет на это время. Верни ему документы”.

Но та как отрезала: “Я понесла какие убытки! Все жрали и пили, как перед войной. И я заслужила полное право считаться замужней женщиной. Пусть Яша выполнит свой супружеский долг”. Что делать, я дал свое согласие.

А кто это поучал: “Яша, не бойся полных. Они только чуточку больше едят”. Ай-й, мамаша! Нет, женщины никогда не умели соображать.

Где я побывал: на сопках Манчжурии или уже на самой макушке расхолодившегося вулкана? Ой, не знаю, не знаю. Может, и там и там. Когда спел первый петух, я начал раз узнавать: “Яша, ты еще живой?” – и ущипнул себя на проверку. Моя нареченная, теперь уже жена, еще почивала. Со стороны раздольного топчана неслись штормовые звуки. Свернувшись калачиком, я лежал на соломенной циновке на полу и покорно прислушивался.

Разлука была сухой: “Глиста в обмороке”, – недружелюбным грудным альтом сказала жена, теперь уже бывшая, и вернула мои документы. Я взял. Затем она выбросила меня за калитку. Я ловко увернулся от плевка и не вступал в пререкания. И что я тут же сказал себе в утешение: “Яша, сию же минуту поклонись всему Краснознаменному Одесскому военному округу, что ее не обучили еще и стрелять. На что тебе быть одесситом? Рогов будет, как у хорошенького стада. Ты оставил ей все, что у нее есть за душой, и поступил красиво – пусть женщина тратит на себя”. И еще я сказал себе: “Яша, женщина мечется, с кем бы себе потерять голову и у кого прятаться за спиной. Ты ищешь, к кому прижаться, как к теплой маме. Я не чужой для тебя человек. Ты это знаешь. И я у тебя прошу – немедленно прекрати жениться! Даже если некому будет закрыть тебе глаза, когда

пробьет твой час. Пускай уже остаются открытые. Считай, что напоследок ты еще что-то такое высматриваешь для себя”.

Так, разговаривая, я незаметно приблизился к вокзалу. А уже куда я уеду – это другой разговор. Счастливого мне пути! Думаете, я нос повешу?

КЛАРА

Я – пышная женщина. На меня любят цвести юноши и состоятельные на вид мужчины. А что я имею от этой волнующей жизни? Голодного Леонардо да Винчи. Вон он как раз валяется на тахте. Ждет, когда музы вдохновят его на вторую Джоконду.

Не понимаю, что они в ней нашли? Лицо как тарелка, и вообще я чихала на ее кошачью улыбку. Вся в бархате, в венецианских кружевах. И она еще улыбается? Да я бы заржала!

Вы посмотрите на эти лохмотья. По улице идешь – плакать хочется. Видишь жалкие мослы в итальянских сапожках – цок, цок, цок, плывет, щеки танцуют. А ты семени. На ногах – булки. И на каких ногах! Бу-ты-лочки! А вслед восхищение: “Какая телка!” Мужской глаз не обманешь. С таким тюфяком одного красивого наряда не сносишь. Знай только штопай, перекрашивай, перешивай.

А потому что сама дура. Ждала поэта, жуткого умницу. А нашла? Разве мама не говорила: “Клара, вчера утонула наша Мурка. Что было искать такой барыне в помойке? Мы чуть ли не ели после нее. Это – дурное предзнаменование. Раскрой глаза на своего живописца. Художество с него так и прет. Взять хоть бы его острый зад и вихлявую собачью походку. Люди прячут улыбку. С таким можно с легким сердцем пойти в театр на Райкина или Ойстраха?” Но разве мы верим в приметы, проклятые атеистки.

А чем папа был не прав: “Любовь с первого взгляда, говоришь? Знаем мы эти снайперские штучки. Потом всю жизнь

полкило хамсе радуешься как ненормальная. Муж должен быть фундаментальный”. И говорил направо-налево: “Хотите, скажу новость? До моих хлебов тянется будущий Сальвадор Дали. Поздравьте меня! Теперь мне всю жизнь батрачить на прожорливых муз. Да еще в своем доме дышать олифой”.

А как ты его отблагодарил? Нарисовал краснорожего рыбака с лимана, который вот-вот подмигнет: “Ну что, тяпнем по махонькой?” И это с папиной почти генеральской внешностью. Мама не могла смотреть на портрет без ингалятора. Я сунула его в сарайчик для старья, чтобы окончательно не добивать стариков. Так ты и к ней уже подбирался, но она отчеканила: “Нарисуй на свой вкус пожилую макаку, я сразу признаюсь, что это – я. Только оставь старика в покое. У него слабое сердце”.

А кто обещался: “Клара, мы посетим лучшие музеи мира. Я познакомлю тебя с цветом общества”? Ты говорил это или ты это не говорил? Я уже валюсь с ног от усталости из-за тех путешествий и круизов, на которых сроду не буду, и у меня расстройство желудка от бесконечных званных обедов и пикников, хоть я их нюхом не понюхаю. Нет повести на Леонтьева, угостить в антракте пирожными со сладким напитком. Я – женщина, а я вижу хоть барбариски?

Одна дурочка в магазине расквохталась: “Я слышала, ваш муж художник. У него такой отрешенный вид. Конечно, он весь в прекрасном”. Видела бы, как он, чавкая как кобель, наворачивает котлеты из сои.

Бедный папа шутил: “Минтай? Пусть будет минтай. Соскобли молоки. Хорошенько промой. Посоли, поперчи. Потом на слабом огне. Заправь эстрагоном. И без сожаления отдай кошке. Кушать такое неприлично, если вы собираетесь себя уважать”. Если бы он узнал, что его “оладушка” ела вымя, он бы воскрес от негодования. У меня от пакетного молока уже ногти синие. В подъезде собака. Веселая, в зубах плавленый сырок. Кому уже завидовать. Пусть не думают, что я хожу. Я падаю.

А кого я вижу из “цвета общества”? Таскается тут один бруцеллезного вида “Шагал”. У него на гороховый суп шелковеют глаза и выступают слезы. Принесет с собой замаранную тряпку.

Расстелят, сидят любят, цокают языками: “Дерзко! Зато какая экспрессия!” Уже терпение треснет, спросишь: “Что это за горе?” – “Диптих “Женщина и космос. Футурореализм”, – говорит и весь прямо лоснится. А у бедной всего один глаз. Вывален, как у морского окуня, и смотрит из того места, какое нормальный человек без колебания считает задницей. Это вам не сю-сю-сюреализм. Это могильная правда. Господи! И так жизнь сволочная.

Не-ет, у да Винчи все на своих местах, но такое все пасмурное,дохлое. Уже кто-кто, даже пьяницы из вашего Худфонда в самом плачевном своем виде насобачились рисовать для интерьеров вождей мирового пролетариата за считанные часы. Взглянешь – свежие, аж розовые, как живые. Вот-вот заговорят. Там им платили, как академикам. А ты выписывал каждый мешок под глазами. У заказчика кожа играла. Такое повесь в кабинете или вестибюле, завтра же кышнут с должности. А с какими параличными лицами выходили у тебя члены Политбюро! У кого хоть столечко сердца, закрыл бы им веки. Пусть упокоятся. И тебе перестали поручать эти работы. Гробописец! Как еще нас не выселили из квартиры за надругательство над святынями.

Пикассо тоже чудил. Так он же зарабатывал. За свою кривую девчонку на шаре он обирал музеи. А на что там смотреть? Чэхотка!

Принес бы раз в дом хоть ослепшую курицу, сказал: “Клара, быстро пофаршируй!” Я бы из нее песню приготовила. Так я бы первой признала, что там ни говорите, у него тоже своя палитра.

Что тебе мешает, скажи? Чем тебе наша сумасшедшая перестройка не Ренессанс? Рисуй с меня нашу Джоконду, захваченную врасплох: в занюханном байковом халате, растрепанную, недолюбленную, голодную, с дикой деклассированной улыбкой. Лучшие музеи выделяют под нее целые залы, потому что туда будут валом валить те, кому не над чем в жизни поплакать. Так мы уже начнем покупать какие-то вещи и ездить на курорты. Другие шныряют с одного на другой.

Женский гнев, в особенности когда он меркантильного свойства, сливается, как внешние воды, в безудержный, бурный,

гремящий поток, и тебя уже несет, хлеща и кувыркая, как беззащитную щепку. Лучшее, что тут присоветуешь, – купайся молчки. Да Винчи притих, прикинувшись умершим. Больше половины о чем говорилось, была чистейшая правда. А Клара еще бушевала.

– Об чем должна мечтать красивая женщина? Она должна мечтать об прекрасном принце, об роковой страсти или уже об такой зажиточности, которая дает и то и другое.

Об чем мечтаю я? Я мечтаю об куске базарной говядины и уже не помню, когда это сбывалось.

Об чем мечтает мой муж? Вон он как раз лежит как персук. Он мечтает об том, что ранний Матисс хуже позднего Пикассо. Все! Я завожу любовника!

Вставай! Леонардо! У нас сегодня почки свиные в томате, будь они прокляты! Я полдня отмачивала их в марганцовке. Ты что, оглох? Только этого мне не хватало. О! Поднял голову.

Вот вечно так. Чуть перенервничаешь – сразу проголодалась.

ОХРАННИК

– Подсудимый Наумчик, сколько времени вы проработали охранником до ограбления склада?

– Уже четыре дня. Вы мне не поверите. Пришел устраиваться, смотрю – не на что глаз положить, один хлам. Себе говорю: “Здесь можно сторожить. Это же свалка!” Откуда мне знать, что у них еще оцинкованное железо? Пусть ему руки отсохнут, кто его цинковал.

Шум? Слышал, как не слышать? У меня волос вставал, как живой. На голове ерзала шляпа.

Собака была. Но это же ласковый пес с нашего квартала. Кинь ему голую кость, и он уже от вас без ума. Я вожу его с собой, потому что боюсь темноты.

Свисток был. Но кому придет в голову свистнуть? Они же швырнут в меня лимонку.

Звонил, как не звонил! Палец в циферблат не попадает. Кричу, почти плачу: “Скорее езжайте сюда! Что вы канителите? Я же не могу голыми руками уложить целую банду!” Но это милиция хорошо находит. А попробуйте найти их. Мне говорят: “Вы не туда попали”. – “Как это не туда? Меня разом кончают”.

Запомнил ли их лица? Так, чтобы в подробностях, так нет. Кругом же ночь. Но лица очень бандитские. С себя все сразу хочется снять и отдать.

А теперь, многоуважаемый суд, вы можете мне ответить? Им нужен был Наумчик? Им нужен был Жуков с Рокоссовским! Это же не охрана. Это – оборона! Нет! Завскладом тут ни при чем! Это – золотой человек.

Только заикнулись об иске, встала разъяренная Роза и сказала так, как ни один великий Плевако бы не сказал:

– Многоуважаемый суд, – начала она благонаравно, но тут же чудовищно пересолила. – Раз я безъязыкая, значит, женщине можно на горло наступать?

Имеющий уши да услышит. Услышавший да ужаснется. Довести до паралича самого уже сговорчивого оптовика, торгуясь в отношении живой рыбы, вырвать пучок волос у невыносимо бесстыжей конкурентки со всеми достодолжными словесными изгаляциями, заморочить участкового инспектора так, что он улепетывает, слыша за спиной обиженный крик: “Постойте! Куда же вы? Дайте человеку слово сказать!” – Роза имела этих доблестей. Более того, для нее это были мелочи. У нее – золото в горле. А кто за это спасибо сказал?

– Кто это должен платить? – продолжала Роза, обращаясь лично к прокурору, и тот зябко поежился. – Я должна платить за вашего охранника, а моего наглеца-мужа? У меня что, клопы самые вишневые? Посмотрите, какой он у меня гордый, прямо лопнет сейчас, что у него, хоть раз в жизни, было что украсть и таки украли. Как еще четыре дня терпели, растяпы? Заставьте его караулить Керченский пролив, тот завтра же куда-нибудь утечет. Так Розе – раскрой кошелек? Оттуда польются слезы.

– Пожалуйста, конкретнее, гражданка Наумчик.

Но у нее уже шло как по маслу.

– Так я ж ему и говорю, куда вам еще конкретней? “Дурак ты набитый! Где сторожишь ты, не украдут только тебя!” – но разве он слушает? Люди меняют деньги на базаре. Красавцы! В руках прямо пачка. Нет, он так не может.

Люди! Этого человека я кормлю со дня нашей свадьбы, чтоб ее тогда сразу залило. Что он из себя – вы пока еще не ослепли. Заставьте его раздеться – ребра, как сабли! А кушать хочет, не сглазить бы, как настоящий спортсмен. Все как в топке горит, чтобы и впредь шло только на пользу. Умные люди говорят, что у него – прямая кишка. Если это действительно так, то он, конечно, не виноват. Но мне от этого не легче. Всю жизнь как на иголках, как бы он в дом чего не принес. Но для него Роза гоняй хоть хоккейную шайбу, абы в барыш. А ему что? Задвинь шляпу на затылок и макай себе теплую халу в рыблю юшку, – жаловалась Роза воцарившейся в зале сострадательной тишине.

– К чему клоню, горячо уважаемый суд, самый гуманный на земле? Если высчитывать из моих копеек, он сразу сдохнет с голоду. Вам будет не жалко? Живое ж. Лучше вы его сажайте. Одним ртом меньше. Да еще каким!

И та Роза, которая, будь в том резон, могла перегородить собой уже маленькое уличное движение или, если пошло на голос, заглушить прославленный хор имени Григория Веревки, – та самая Роза кроткими глазами делала мужу поющие фонтаны. Гордый Наумчик смотрел на жену, как дракон на птичку.

Что вам сказать. Защитник моргал, как оплеванный. Прокурор кричал: “Браво!” Судья конфузливо сморкался. В глазах заседателей стояли слезы. В зале вскрикивали: “Щас пропаду! Ой, у меня родимчик!”

И Наумчика выпустили без иска, правда, взяв с него подписку, что он уже до конца своей жизни не станет ничего охранять, будь то даже такие городские святыни, как памятник Дюку или Одесская лестница. Пускай уже уносят.

– А если... – пикнул было Наумчик.

– Не может быть и речи! – грозно осекла окрыленная своим адвокатским успехом Роза, и уже от имени Закона.

И Наумчик с тяжким стоном подписал кабальное обязательство.

– Мне бы быть юристом от бога, а не подругой этого раззявы, – сказала польщенная публичным вниманием Роза и заключила в объятия вконец истончавшего мужа.

– Паразитка! Ты так хорошо сказала, я думал, тюрьмой я обеспечен, – шепнул Наумчик и, уркнув, исчез в богатырской охапке.

– Быстрее идем домой. Там ждет тебя теплая щука.

Когда они пришли туда, где ждала его теплая щука, Наумчик где-то что-то глубоко порылся, что-то где-то достал и, задвинув шляпу на затылок, сказал с загадкой:

– Разве у Наумчика можно что-то нахально взять? У Наумчика можно только хорошо попросить. – И с фасоном бросил на стол офицерскую планшетку, набитую пачками денег, добавив:

– Теперь уже можно тратить.

Вы хотели бы увидеть Розу во счастьяи. Ну пожалуйста. Первое что – она охнула и немножко осела, потом легонько прикоснулась до планшетки, как до горячего, и пошуршала краешком пачки, чтобы уже знать, что, слава богу, здорова. В глазах ее зажглись факелы.

– Что там ни говори, а я всегда верила, что когда-нибудь ты... У нас будет своя рыбная лавка и самый отборный клиент, – залепетала она и задохнулась от чувств.

ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ

Известно, что эстетическое воспитание в Одессе – родительская психопатия. Скажи одесской маме: “У вашего ребенка музыкальные способности”. И глаза у нее сразу становятся думающие. А добавь, если черт тебя дернул: “У него абсолютный слух”. И – кончено. Она целенаправленно, планомерно, неутомно, последовательно, с воркующей нежностью делает из него трехатика*. Голос отца, если он рассудителен и трезв, копейки не стоит.

* *Трехатика – трясучка.*

– А что ты можешь предложить ему взамен? – сардонически спрашивает жена. – Мартеновскую печку, шагающий как ненормальный экскаватор или лудить примусы? Хватит! Мы наишачились еще в Египте. Пусть у дитя будет красивое занятие. Какое дело Хейфецу, чем забивают гвозди, а Лепешинской – откуда доят козу?

И отпрыску уличные игры, детские шалости и раздоры заказаны: “А руки, а пальчики?!” Следуя вожделениям мамы, он становится рабом рояля, виолончели, корнет-а-пистона, чего-то еще. Но самое горемычное – скрипка. В народной толще отношение к ней нервическое: душу вынает, и так жить тошно.

– Ти-ти, ти-ти, ти-ти. Ты можешь сказать, что он играет?

– Он говорит, что Моцарта.

– А я думал, он передразнивает трамваи.

– Ай-ай. Мне твои шоферские шуточки вот где уже сидят. Другие отцы убивают детей: “Играй, бездельник, играй, это для твоего же счастья”. А наш Юзик сам это понимает. Бетховена столько лупцевали за неприлежание, что он взял и оглох. Я думаю, его били по голове. А что он миру явил?

– Я думаю, нашему Юзику нужен другой подход: “Опусти на минуту смычок, выродок! Дай чтобы родителям немножко отлила кровь от головы”. И еще отпустить пару оплеух. Одной будет явно мало. У всего барака уже в ушах свистит. Я удивляюсь, как нам до сих пор еще не швырнули в форточку гранату.

– А что ты ждал? Даже от неземных, по слухам, фиоритур царя Давида дворцовые не знали, куда себе голову деть. Так то ж были люди. А у нас одни психи и неврастеники. Я сколько раз говорила – зайди в исполком и положи на стол прошение: “У нас одаренный ребенок. Жилищные условия и соседи мешают его развитию”. Я соберу все подписи и свидетельства. Эх! Если бы Сталин взял Юзика на руки и прижал к щеке, как ту девочку, я бы уже сама поставила горком на колени. Посмотрим, что все запоют, когда нашего мальчика будут забрасывать цветами и носить на руках. У нас будет дом с колоннами. Ты знаешь другой выход, как выбраться из этого вонючего барака?

– Я не знаю другого способа, как попасть в сумасшедший дом. А цветы Юзику будут, когда в Крыжополе откроют второй Большой театр. И понесут на руках нас. Раньше срока, вперед ногами, с заострившимся птичьим носом и недовольством, что господь не того забрал. Мой папа совсем одичал и просится в дом призрения. Жить ему надоело. На днях я почти вырвал у него флакон с муравьиным спиртом.

– Или я не говорила: “Папа, вы мало гуляете. Вам нужен свежий воздух”.

– Конечно. Пусть станет уличным. А я говорю – к чертовой матери эту скрипку! Если Юзик так же начнет играть на свадьбах, его заставят проглотить смычок.

– И это родительский разговор? И это благодарность судьбе? Педагоги твердят: “Растет техника исполнения”. Все говорят: “Ваш сын – будущий Паганини”. Я уже принимаю поздравления.

Не все говорят. Соседи, грози им хоть телесными истязаниями, считают: бедному пацану медведь на ухо наступил и еще яростно топтал. Когда Юзик играет арпеджио, кажется, что где-то совсем рядом обиженно мычит корова, и хочется перебить всю посуду. Когда мальчишка лабает хроматические гаммы, соседи барабанят в пол, стены и потолок, дед мечется по комнате, причитая: “Что за дом? На что мне такая старость? Не лучше написать в органы донос, что я родной племянник Льва Троцкого? В кутузке тишина и никто не возбранит тебе свободно развести руками”.

Соседка Клава плачет в отчаяньи: “На что мой Коля матерщинник и грубиян, а в самом страшном состоянии пальца на меня не поднимет. А сыграй ему проклятые гаммы, я пропадаю. Да и самой кажется, что мне щипцами затылок вытягивают”.

Работающий по зорьке дворник Ермил после прогулки по терренкуру до бочки с разливной мадерой спит как убитый. Но только начнется концерт, подскакивает как ошпаренный, не размыкая век, машет руками: “Кыш, кыш, парападлины!” Ему кажется, что на него набросились осы. Сколько раз уже он крошил скрипку в щепки на голове пацана: “Ну сыграй мне “Метелицу”, слова худого от меня не дожدهшься”.

Но мечта – не действительность. Так этот дворник Ермил в присутствии монтера Ревы и одного неслужебного лица на кружке мадеры поклялся: “Если этот курвец поступит в консерваторию, я запалю их квартиру. Керосину начасу уже. Баку еще на своем месте. Нехай себе шукають дурних суседив. Вы думаете, чего я выпиваю? Я спасаюсь. Я дам, что ли, этому лобздику зарезать себя смычком? А вот ему!” И подкрепил клятву надлежащим жестом.

Конечно, у пенсионерки Натальи Калистратовны, бывшей учительницы ботаники, пляска святого Витта еще от школы. У нее и раньше вскидывались руки и кривилось лицо. Но теперь она делает это чаще, с дирижерской восторженностью и вдохновенно дергает щекой, стараясь попасть в такт.

А бедная Надя. Жилица сверху. Скажите, откуда у простой малограмотной посудомойки в коммерческом кафе при медосмотре, как у какой-нибудь фифы, обнаружались ленточные глисты? А все потому, что дома нервы мутузят. Ни минуты покоя. И можно еще перечислять и перечислять.

Но этот ужас еще не весь. Когда Юзик начнет наяривать “Полет шмеля” Римского-Корсакова из “Сказки о царе Салтане”, – а он обязательно начнет, – жильцам не из чего будет выбирать, кроме как между тихим, уютным параличом и утешительной, всепрощающей, сострадательной психушкой. Таковы злые чары скрипки, если музыки не любить.

И у солиста, и у самого заклеванного смычка самой уже захолустной филармонии гордость одна. Они – артисты. И беда одна. Они – скрипачи, что в простолоудьи сродни классовому врагу. И мерило успеха одно: сколько ты попил крови у обезумевших беззащитных соседей. Пил много – ты виртуоз. Пил кровь мешками – ты большой маэстро.

Эх, эх. Надо претерпеть, подступаясь к порогу великой Музыки, чтобы, переступив его, дарить людям радость. Публика, залы, оркестры – это будет потом.

НОТАБЕНЕ

Подводы, полуторки, шлюпки, “амфибии”, нарты, шахты, лесоповалы, рудники, промыслы. Бараки, красные уголки, ленинские комнаты, избушки, юрты. Землепроходец Семенов-Тянь-Шанский от зависти бы почернел. А еще дичь, оленина, таймень, волшебный омуль, красная икра мисками. И лица, лица, видалые люди. Улыбки застенчивые, добрые, насмешливо-недоверчивые, открытые, как у зевнувшей овчарки. Эх-эх. Но чего бога гневить, даже ни разу пальцем не тронули.

И вот концертный зал. Барак, свежеевыдраенная столовая, пахнущая влажной сосной. “Скамеек мало, сидайте на пол, всем места хватит”. Ожидание неизвестности. Первые звуки и первое удивление и замешательство: то ли колодезный журавль скрипит, то ли отчаянно жужжит приклеившаяся к липучке муха. Сонные глаза испуганно следят за шмыгающим смычком. Вдруг из испуганной тишины слышится протяжный дизельный зуд. Кого-то уже сморило у раскаленной буржуйки. Робкий смешок по рядам. Но это еще не праздник.

Скрипач вообще, если он всецело проникается музыкой, – вопиющее зрелище: глаза пьяные, рот гузкой, брови танцуют, щеки пульсируют. Таково дьявольское отродье – скрипка. Это побочный мимический концерт, от которого ее обожатели млеют.

Для глубинки это большой подарок. Что-нибудь вроде чаплиновских штучек и райкинских мистификаций.

– Гля, брови, как у Сергея Филиппова, ходят. Ну, ум-мат! – обрадуется кто-то ко всеобщему удовольствию. И ты уже у них в макуху свой.

– Смажь струны солидоллом. У меня уже шкура встает, – просит другой.

Женщины, спасибо им, на всех цыкают, но смеются визгливей всех. И наверное, жалости полны: вот так вот жужжать по полдня, бедная жинка, видать, уже головой трясет.

– Бросай бензопилу! Делай цыганочку с выходом: апа-цапа, ца-ца, апа-цапа, ца-ца, апа-цапа-цацаца-ца-ца, – размечтается

третий. Всем кажется – артист все должен уметь. Иначе его б не послали.

– Сыграй Мурку! Мурку сыграй! – несется с другой стороны.

Концерт продолжается. Бедные классики. Видели бы они частный эффект от своих великих творений, кончилось бы белыми санитарями и смирительной рубашкой. А как совместишь подвыпившего трелевщика с лесоповала с “Жар-птицей” Стравинского? Не-ет, он сразу же засыпает. Но вскидывается, стонет, скребет зубами. А как донести Моцарта? Но сильно не грехи. У скольких бывалых с первого и до последнего звука ты видел в глазах детское выражение.

Концерт окончен. Все радостны и светлы. Дружно аплодируют, как будто побывал у них не какой-нибудь вертухай, а сам клоун Карандаш, еще и с цирком лилипутов. Жалеют, что все кончилось. Нашелся, однако, какой-то правдоискатель.

– Ты зырь, на афишке их четверо, а драит – один. Хоть суточные, дорожные, ночлежные капают всем. Подснежники! Химдым! Ну ладно Брамс-мулямс. Один кодык! А почему Арам Хачатурян “Танец с саблями” не станцевал? В райцентре видели одного. Ну, вылитый! Чеснок головками загонял.

Не беда: растолкуют – поймет.

Потом посиделки с активом. Жарковье и студень из кабанины, тающая во рту обская сельдь, грузди соленые под баночный спирт. И вопросы, вопросы:

– Куда подевали артиста Петра Алейникова? Сколько мужьев у Клавдии Шульженки, а хахарей – у Целиковской? Кто будет по нации Марк Бернес? Это правда, что у Михаила Жарова деньги куры не клюют, а Фаина Раневская – переодетый мужик? Сколько водяры хапанет, не сходя с места, Борис Андреев из “Два бойца”?

Затем песни – фронтовые, казачьи, ямщицкие. Удалые, залихватские, с дремучей невыплаканной народной тоской, с выпученными глазами, напряженными жилами на шее, с душевным волнением, распугивающим все живое. Кто нас переделает?

Наутро в груди костер, в мозгу гудят молодецкие песни, в душе раскардаш и легкое раскаяние: “Ну чего не сыграть “Мурку”

перетруженным людям. Когда-то в Одессе на нее, поправив бабочки, вставали, как на гимн”. Но праведная консерваторская школа повелевает: возвышай людей до себя, ты не шарманщик.

Кто-то скребет в окно. Медведь! Мамочки! Где у них тут чердак? Не-ет. Дружелюбно ворчит, застенчиво мигает. Глаза просящие. Видит – истукан. Развалистой бабьей походкой скрывается в чаще. Неужели и этого бедолагу споили?

А вот и розвальни. Заиндевелый малорослый конек неустанно кивает. Возчик отогрел у печки доху. И – вперед! По петлистой, ухабистой стезе – “Искусство – народу!”

ЭМИГРАНТЫ

Ну и народец мы на Запад загнали – “Ой, люлюшки, люли, люли, отворяй-ка ворота”. Сплошь правоверные марксисты. Труд считают угнетением человека человеком. Ходят с дармоедскими плакатами и транспарантами: “Повысьте пособия по безработице, мироеды проклятые!”

Здесь – диссидент, там – диссидент, – это уже патология. Тамашные психопатологи изучают мотивацию поведения бывших наших сограждан. Выводы неутешительны: склонность к необоснованному отдыху и предосудительному веселию.

Спроси того, кто искал, что нашел:

– Как вам по вкусу ваше свободолюбивое общество?

– Еще бы как! Ни почетных грамот, ни Доски почета, ни бесплатной путевки в санаторий-профилакторий. Одно – ишачь!

А это с чем кушается: “Вам черта лысого, полосатого, конопатого, в крапочку? Благодарим за покупку”. Кто так торгует, мерзотники? Скажите: “Пока – нету. Зайдите на неделе. Достанем, хоть пропадем”. И вас уже носят на руках. К тому же – ни естественной убыли, ни списаний. Просто – сволочи!

Американцы, глядя на разгул преступности и проституции в среде наших переселенцев, в недоумении: “Если они называют это – утечка мозгов, то что у них осталось там, на месте?”

Знаменитый пахан Аль Капоне со своими молодчиками в сравнении с нашими криминальными дарованиями – затюканные фрайера и бедненькие шустряки.

А девочки какого шороху там навели! Хваленые ихние юбочники, напищенные эротическими пособиями Востока и Запада, уже обегают наших жриц любви за три авеню. Негритянское гетто униженно глотает биостимуляторы. Пресса не жалует эпитетов: “Неутомимые пчелки, безаварийный конвейер, маятник Фуко, перпетуум мобиле. Янки – держись!” Сексопатологи держатся за голову: “Откуда такой чудовищный моторесурс? Может, от сбалансированного питания? Или дома без меры мариновали – вляпались в перестройку”.

Лукавят, конечно, американцы. Тысяч двести светлых голов они себе отхватили. У нас льют слезы за утечку мозгов и все ликуют за новый исход евреев. Как будто это не одно и то же. На то и загадочность нашей души.

Что у них “не все дома”, наш человек знал всегда.

Конструкторишка, хмырь – пинг-понг, шахматы, “морской бой”. А у них – мозг производства, технический гений.

Мазила, маляр – там художник-авангардист. Вернисажи, эксклюзивные интервью.

Замухрышка-рифмоплет: “Тюлень-сирень, водка-глотка”. Там Гоголем ходит. В ресторанах жрет.

Рожа гуммозная. Пируэтничала на сцене подальше от глаз. Какая с нее лебедь или Жизель? Зрителей потянет рвать в первых рядах. Что ж, ее в вуалетке прикажете выпускать или в парандже? У них – прима-балерина, “жемчужина пластики”.

Диссиденту, скрытому психу, именитую клинику доверяют. А наш “добрый доктор Айболит”, институт, ординатура – диплом недействителен. Видите ли, не знают они, скольких ты уже угробил и скольких мог бы, ежели б господь не хранил, – больше некому.

Мы предлагаем им: “Берите еще из наших пламенных ораторов и крупных спецов. Для великих свершений. Глыбы ж – не люди. Меньше с жиру беситься будете”. Отвечают: “Санк ю вери мач. Нам довольно. Надо и совесть знать”. Тут у них в голове шариков хватает. А если б взяли? Сразу задует ветер перемен.

Первое что – с деловым реликтовым матом завалят статую Свободы с факелом в руке, вроде та ищет что-то в потемках. На ее место станет коренастый лысый мужчина с дланью, простертою в светлую даль. Все вокруг сразу окрасится в пурпур и кумач. Зазвучат героические трудовые песни и гимны. Все станут покрываться конским мылом на производственных собраниях, совещаниях, планерках, летучках, пятиминутках, ухитряясь оставаться совершенно сухими в самой работе. На проспектах и бульварах появятся первые зловещие окурки и семечковая шелуха.

По старой доброй привычке Глыбы сразу навалятся на пищу. Все катастрофически быстро начнет терять привычный вес, специфический вкус, а затем и отдаленный запах. В лоне, пленявшем неисчислимой фауной и флорой земли, где некогда священнодействовали, появятся угрюмые туши отмучившихся домашних животных, вызывающие мурашки, сиреневые куры со свежими следами удавок, как будто их душили всей бригадой коммунистического труда, и корявые овощи и фрукты. Из некогда щедрого чрева даров моря скучно и унизительно потянет пропахшей селедкой. Пышный двухъярусный сэндвич превратится в суровый кожистый бутерброд. Гордость национальной кухни “стейк с кровью” сменит бифштекс рубленый с яйцом. И никакой фантазии не хватит угадать, что они в сей раз туда нарубали. А на рождественском столе вместо румяной розовой индейки появится серая облезлая утка.

Игрою косолапого воображения, в местах компактного проживания магометан заляжет свинина, а у неправовверных – вяленый на солнце баран. В фактории суровой Аляски затащат вискозное белье и туфли-лодочки, а в знойную Калифорнию – собачьи доху и унты и лыжи. Зимой у них будут панамки и сандалеты, а летом – все на меху.

В облик покупателя навсегда вьется усталый вид заезженной клячи, в глазах зажжется недобрый нахальный огонек заядлого охотника. И все для него окажется невпопад: носишься за хлопчатобумажными носками – покупаешь вентилятор, гоняешься за колготками – добываешь мясо, ищешь костюм – напарываешься на штaketник.

На некогда золотой ниве беспутно затарахтят неисправные комбайны и трактора, и испытанные веками фермеры в самый разгар урожайной страды затынут: “Э-эй, ухнем” – и пустят гра-
ненный стакан по кругу.

“Ау-у!” – возопит земледелец земледельцу, “Ау-у!” – ответит бездумное эхо. И тогда опростоволосившиеся аборигены бросят-
ся на карачки и завоют истошно, пронзительно и безысходно.

– Фу-ух, фу-ух, дайте отдышаться. Свершилось! – обрадуются Глыбы, довольные своим марксистским счастьем. – Нагнали Америку. Вернее, она нас догнала. Теперь – самая дружба. Фредшип! Голодный голодного ой-ой-ой как разумеет.

Правильно говорят: там хорошо, где нас нет. Потому что где мы уже есть, смело кричи – карау-ул!!!

АДАМ И ЕВА

(авторские репризы и анекдоты)

“Что Еву делали из ребра, я вхожу в положение. Но хоть костным мозгом можно было бы немножко соображать?” – кипит Адам. Но это как же надо было нализаться, чтобы из своего же ребра дать для себя сделать такую пиявку.

“Самые проникновенные в любви женщины – глухонемые”, – якобы поучал царь Соломон. А он был их большой знаток и ценитель. “Они радуют плоть и ублажают дух и никогда не берут на горло”.

Царь Пигмалион изваял фигуру прекрасной девушки и втрескался в нее по уши. Он не спит, не ест, не моется. Он пишет стихи. Боги Олимпа сжалились над ним и оживили статую, но ехидно ухмыльнулись: “Подожди, ты еще не так пропадешь!”

Какое-то время скульптор обезумевал от счастья. Но когда Галатее раскрыла рот, стал грызть свой злополучный резец – и делает это поныне.

Воздушность, очарование, нераспустившийся бутон. А захо-мута – отвязавшийся Полкан, причем из самых облаистых.

– Что вы буровите! Если моя Рая уже разговорилась, можете на нее положиться. Она и собаке не даст пасть раскрыть. Но что я вам скажу. Придвиньтесь ближе. Если туго набить уши ватой, даже Раины крики слышатся вам тюханьем соловья. Надо только кивать и заладить: “Рая, ты, как и вчера, кругом права”. Так после всего она отдает тебе лучший кусок.

Истых дочерей Евы до сих пор гложет библейский позор и обида. “Хорошенькое дело! Подсунули девчонке паршивое яблоко, спортили и теперь рот затыкают еще. Адам хоть одну шпильку ей купил?” Вот!

О жертвенности Евы можно говорить бесконечно. Но слюнявые поговорки вроде “С милым рай и в шалаше” нахально придумывает от ее лица сам Адам. И если под шалашом подразумевать Бахчисарай с фонтанами, предстоит еще решительно выяснить, что Ева считает раем и окончательно скольких по-настоящему милыми.

Ева никогда толком не знает, что она хочет. Зато она твердо знает, что хочет решительно – все! Вздумай старик Хоттабыч исполнить ее желание, по обыкновению дергая волосок из бороды, он бы вырвался от нее молодавый, с голым, как пятка, подбородком, без бровей, без ресниц, с фаянсовой лысиной, радуясь, что счастливо отделался. Потом выяснилось бы, что самое главное прямо у Евы выскочило из головы.

Уже вымолвлены сакраментальные слова: “Согласна – согласен”. На милом пальчике обручальное кольцо. Гремит марш Мендельсона. Шипит шампанское в заговских бокалах. Вокруг улыбки, цветы. Радуйся и ликуй. Но помни – еще не поздно рвать когти!

Глупости: “Если свалилось злосчастье, – якобы считал тот же мудрый царь Соломон, – громко вопияй сам, но волосы рви на голове у жены. И – все пройдет”.

Чему это нравоучает? – вдвоем удары судьбы переносятся легче.

Надо быть верной, как Пенелопа, пылкой, как испанка, неистойой кухаркой и прачкой, таскать на закорках пьяного Адама, зарабатывать больше, ходить в обносках и отопках, носить шестимесячную химическую завивку и млеть от счастья, чтобы он когда-нибудь сказал: “Моя Ева замечательная жена! Только с большим приветом”.

Адам прост как редька. Уже с носу бесконтрольно капает. По виду можно оплакивать, а он объявление дает: “Жду женщину моей мечты! Материально независимую, с собственным жильем. Без низменных наклонностей. Окраин не предлагать”. И ждет, укорачивая себе жизнь.

Нет написать: “Ищу подругу жизни. Чтоб жарить, парить, стирать, двигаться – без посторонней помощи. Размер бюста – необязателен. Отзовись, единственная!” И – счастьем ты обеспечен.

ЛЕВОН ХЕЧОЯН

Железными дорогами Европы

Перевела Эринэ Бабаханян

07.06.2000. О Господи! По причине незнания языков я онемел, ты снова подарил мне возможность молчать... Я снова камень, выпущенный из пращи, лечу через всю Европу, – как много лет назад, онемевший, летел через войну, не зная её языка.

С лиссабонской железнодорожной станции Санта-Аполлония поезд с рёвом мчится в Испанию. Жара, пекло. На горных полях то ли кофейные, то ли оливковые деревья. Навстречу стремительному бегу поезда яркими вспышками – мгновение перед глазами, и вот уже далеко позади – на фоне густой зелени, из облитых солнцем кустов, из тени деревьев высверкивают белые спины коров, будто грибы после дождя.

В синеве неба парит белый сокол. Таким я видел его и в горах Омари, идя сквозь войну.

Воля Твоя, Боже, я снова лишен речи, в странствиях буду искать горизонт... Я как камень из пращи, выпущенный сам из себя... Отрадное молчание. Земля жёлтая, в синем зное неба плавно кружат аисты с неподвижно раскинутыми крыльями. Вдали горы, многослойные, с массой цветовых оттенков, похожие на Гегамские, и кажется, пройди еще чуть-чуть – и выйдешь к озеру Севан.

Во мне постепенно просыпается ощущение счастья от движения навстречу неизведанному, похожее на необъяснимый восторг предчувствия смертельной опасности.

В мареве зноя шестерка лошадей, жеребёнок, как мёртвый, распластался на горячей траве – проносятся мимо. Теперь экспресс стоит, а они летят. Обретшая неподвижность земля качается, уходит из-под ног, тело, пошатываясь, ускользает, а вместе с ним и мозг, утративший равновесие от тряски.

На перроне и в коридорах поезда говорят уже на четырёх испанских языках.

В кресле немка с жёлтыми волосами, с белоснежной открытой спиной. В строке или при построении предложения, а может, в самой реальности, но я потерял аистов. Поезд стоит, шестерка красных коней и жеребёнок застыли в багровом пекле за окном...

Дороги, неосознанно далёкий горизонт, я вновь иду к тебе, в тебя...

Зной для лошадей – красный, для меня – жёлтый.

Напротив спит девушка – с обнаженной спиной, съезжилась, как в утробе, как в неизвестности... Проснулась, туманно взглянула на меня и отвернулась... Жёлтые волосы больше не видны. Геометрическое преобразование предметов в этом вязком солнечном свете, кружение аистов, длинные синие тени олив, электрических столбов, дорожных указателей. Тяжкое солнце красных лошадей, мой жёлтый зной...

Снова и снова я возвращаюсь в тот захватывающий лёт-бег поезда, и на мысль приходят образы моего Каина и моего Авеля: однажды, идя вот такими же бескрайними полями, брат убил брата...

Разве эти вольные просторы, где проходит железнодорожное полотно с путаницей рельсов и громыхает поезд, не пустынные поля Каина, где он восстал на Авеля и убил его? Разве не по этим дорогам, о моя Европа, пролагала себе путь зеленая мечта Гитлера, жаждавшего завоевать сушу от Атлантического океана до Тихого для создания Великого Германского Рейха? Вечереет, синь ложится на далёкие горы. Цвет неба лег на землю, разли-

тый повсюду живописный лиловый цвет. В 1936-39 годы по этой железной дороге прибывали в Испанию такие же, как наш, поезда – составы специального назначения с воинами-добровольцами, спешащими на помощь интернациональным бригадам.

Приближаемся к Мадриду... Не знаю почему, но я с детства считал, что солнце заходит именно в этих краях.

08.06.2000. Века, эпохи, цивилизации из пены своего времени творят идею управления общественным строем. Пропагандистская машина, совершенствуя эту невесомую идею, на пространстве своего столетия превращает ее в господствующий культ – идеологию и в нужный час ее обнародует.

Задуманный для глобализируемой Европы концептуальный проект “Литературный экспресс”, который старается втиснуть целый материк в единое культурное пространство, создавая точки касания для общения и взаимопонимания его народов, попытка задействовать возможности литературы на пользу идеологии “новой Европы” – разве не та же пена века?

Ведь Европа – это скорпион, живущий в антагонизме своей головы и хвоста, в вечных противоречиях от кипящего в нем яда, заготовленного для самоуничтожения, со множеством его религий и идеологий – католической, мусульманской, апостольской, протестантской, гомосексуальной, коммунистической, свидетелей Иеговы, феминистической, иудейской, демократической, фашистской, американской, националистической, интернациональной, – которые всегда составляли основу его гениальной культуры и жестоких саморазрушительных войн. Именно они и не дают сколько-нибудь однозначно воспринимать идеологию единого европейского дома.

Под действием этих двух с давних времен установленных разнонаправленных законов – сменяющихся приливов и отливов – постоянно то наполняется, то опустошается существование европейского человека. Европа очень похожа на скорпиона: на одном полюсе светлая голова – жизнь, на другом – хвост со смертоносным жалом. Ее смерть и возрождение неотделимы друг от друга, подобно фазам луны – ее росту и убыванию; при-

лив – это конец отлива, отлив – конец прилива: одно рождает другое. Путь бесконечного возвращения Европы – это искусство и хаос. Одно без другого вымрет.

“Она глобализируется”. До каких пределов? Ее горизонтальные фланги – два океана, вертикальная граница – Уральские горы. На какую высоту позволительно подняться над ними, чтобы наш процесс не походил на строительство гигантской башни-небоскрёба?

Сто пятьдесят авторов из сорока пяти стран, пишущие на сорока языках, едущие туда в этом загадочном поезде, – может быть, это возвращение вспять, опять в неизвестность – та же пена века?

Каким бы я ни был бесстрашным, мне все же кажется, что символу БАШНИ следовало стать одиннадцатой заповедью, за роком для человечества.

Улицы Мадрида – с их звенящей, рокошущей вековой суетой, многоголосием языков, мусульмано-христианской архитектурой, залитые прозрачным лиловым светом, с бесподобным кофе в открытых кафе.

Национальный музей Прадо. Беллини, Боттичелли, Босх, Веласкес, Гойя, Мемлинг, Мурильо, Рубенс, Сурбаран, Тинторетто, Тициан, Эль Греко...

Начальная ступень восприятия цвета: где-то внутри меня, попеременно поднимаясь и опускаясь в такт горячим и холодным течениям, воздушный шар уводит меня к новым мирам, где я неторопливо бросаю якорь.

Эти гениальные полотна, в каком бы веке ни были созданы по отдельности – собранные вместе, приоткрывают нам тайны человечества, посредством красок, стилей, исполнительской техники находя точки соприкосновения между совершенством и реальным миром, даря нам иллюзию причастности к космическому таинству...

Нам всегда кажется, что вот он путь – тот самый, который приведёт куда надо, на деле же уподобляемся лисице, что кружится волчком в погоне за собственным хвостом.

Беспредельность, медленное вращение земного шара в ней.

Ненавижу ноющую усталость ног после хождения по художественным галереям. От стольких картин – как внутри, так и снаружи, стольких оттенков увиденного и услышанного мне грустно-радостно. Все краски просмотренных залов, как теленок на веревке, покорно тянутся следом за мной.

09.06.2000. Сегодня во время церемонии перед статуей Пушкина они вели себя непринуждённо. Обменивались шутками с работниками Российского посольства и Пушкинского литературного центра, фотографировались, декламировали, простирая руку к горизонту. Жест, как бы демонстрирующий дружбу с русскими. Им известно также, что Европе нравится улыбка, невинное детское озорство. В ход идет все, что может оказаться к пользе.

Их гид-переводчик – турчанка в элегантной чёрной шляпе с полями, к чёрной тулье приколота красная роза. У неё зелёные глаза.

Я должен успокоиться, привыкнуть к тому, что они рядом. Время вновь заставит нас плутать в этом лабиринте, будет сводить и разводить, сталкивать нос к носу, вынудит смотреть друг на друга.

Четыре, пять часов мы мужественно бродим по Мадриду, городу нежных закатов – с мужским характером и печатью истории на лбу. Вокруг высятся королевские дворцы с просторными внутренними дворами, с мощными площадями, приспособленными под парады кавалерии, с памятниками – символами былой мощи государства и власти: взвившиеся на дыбы кони с всадниками-королями в железных доспехах. На одной площади в копыте коня Филиппа Третьего зияло отверстие: внутри медного памятника затаились тишина и время. Старый город... узкие улочки... мелодичное звучание четырех языков...

Возвращаемся к выставке-ярмарке книг. Поэты читают свои стихи на родном наречии. Разноязыкий гам, ничего не понять – знакомое Вавилонское столпотворение. Начинается пресс-конференция с участием издателей и писателей. Я тоже участвую,

меня приглашают на сцену, к столу. Вижу их – это первое, что обнаруживается по ту сторону красного стола. Чёрная шляпа с розой. Её движение навстречу мне и обратно. Непринуждённо, чуть покачиваясь, она подходит к сцене, устремив вверх невинные зелёные глаза, пьёт газированную воду из стаканчика и возвращается на место.

Так будет всегда. Постоянно будет возникать проблема стола – кто вправе пользоваться красным столом Европы.

После Второй мировой войны страны Западной Европы открыли друг другу границы, создав “новую Европу” с общим рынком и единой валютой (попутно это доказывало, что материк имеет перспективы успешного слияния в будущем). “Новое” объединение государств стало неразделимым и в экономической, и в политической сферах. В этом контексте мы должны рассматривать нас и турецкое государство, которое желает стать полноправным членом Европейского Союза. И хотя Европа по известным причинам не приняла его в свою структуру, тем не менее, в силу открытости границ, она долгие годы пристально к нему присматривалась: смотрела их танцы, слушала их песни. Кроме того по итогам наших наблюдений в разных странах, из пресс-конференций и интервью в газетах, из дебатов и телевизионных передач становится ясно, что Европа прислушивается к тому, что говорит Турция. Внешняя политика Турции, благодаря ее богатому опыту, осуществляется успешно, наша – плохо. В части весомости, значимости сказанного нами в сфере информации как в силу объективных, так и субъективных причин мы сильно отстаем. Крупные державы, молча поглаживая ее по головке, поощряют существование государства такого типа – в особенности Германия.

Времена изменились, и наша стратегия, соответственно, должна стать иной.

В составе их делегации шесть человек, плюс врач – французский подданный, плюс два азербайджанца. Согласно регламенту мы каждый день, с утра до ночи, проводим вместе, а я (прошли уже первые пять дней) все никак не преодолёю давнюю, высотой с небоскрёб, преграду между нами. “Их” человек

уже не должен рассматриваться как наш враг. Времена фидаинских войн образца пятнадцатого года устарели, ибо после Второй мировой войны каждая страна получила то, что ей причитается, и теперь хочет жить тихо-мирно, не бряцая оружием. Хотя мы с успехом доказали, что можем достойно защитить свою страну, однако это путь бесконечного возврата к жестоким войнам, который окончательно истощит и без того лишенную экономики страну, как это происходило со всеми воинствующими странами с античных времён до наших дней.

Сегодня социально-экономическая ситуация в Турции несравнима с нашей. И в военной сфере страна имеет неоценимое преимущество, как член НАТО: обладает модернизированным оружием и опытом в части содержания армии.

Наш гражданин должен свыкнуться с существованием ее жителей: не следует уподобляться домочадцам библейского Лота, которым ангел в дни бегства семьи из Содома запретил оглядываться назад, грозя превратить их в соляной столб.

И тут нам понадобится весь наш опыт – и умение шагать сквозь века, и мудрость достижения горизонтов, – чтобы, слыша голоса позади, не обернуться и не окаменеть пред памятью прошлого, подобно жене Лота.

Да и их положение в духовной сфере не столь благополучно, поскольку представлять в мировой истории – историю собственную, считая Западную Армению, Анатолию, своей родиной, не так-то легко. Нелегко, в первую очередь, по причине отказа от своей генетической родины – Центральной Азии, потому что, когда отказываешься от духа гор, рек, лесов, полей, скал, который питал твой человеческий тип, география преданной мечу чужой страны завоёвывает завоевателя, уподобляя его себе.

Так произошло на испанской земле с арабами: награбленное ими в стране, которую они покоряли восемьсот лет, наказало их. Нам надо терпеливо двигаться вперёд. Мы должны с картографической точностью изучить пути-дороги больших и малых турецких городов. Мы всегда говорим, что наш народ с древнейших времен на генетическом уровне обладал знанием законов торговли и развил её до степени искусства с его красотой и

гармонией. Так давайте напустим на них людей такого склада – экономистов, торговцев, хозяев, и пусть рвут в клочки, потрошат их экономику, завладевают их богатством и набивают им наши амбары.

Хочу привести еще одну строку из книги Бытия: “Солнце возшло над землею, и Лот вошёл в Сигор...”

А вопрос притязаний, выходящий за рамки понятной народу политики, пусть остается в компетенции государства. Если у нас будет умная и богатая родина, правильно построенное государство – пусть оно снова и снова сражается с их страной в международных организациях и союзах, да везде, где захочет, – во имя этой священной идеи.

Моя очередь выступать, и я вынужден прервать свои размышления.

12.06.2000. Снова толчок и скрип Вавилонской башни. Ручка, бумага, мысль, строка: погружаюсь в них. Этот поезд, опять те же проблемы – я уже устал от него. Боже, так скоро? Утомляет, наверно, то, что несчетное число раз на дню видишь одни и те же лица – сто пятьдесят лиц. Писатель – инструмент одиночества, какие у него могут быть общие дела с другими писателями! Нас слишком много, чересчур густая концентрация. Из-за того, что ночью плохо спал, болит голова, но счастливое предвкушение того, что в один прекрасный день я сяду и напишу о дарах Каина и Авеля, не покидает меня. Тот замес, из которого создаются дары: земля, вода и небо данной страны, – старшие братья часто любят отбирать у младших, а если такое произойдет в этих бескрайних полях и холмах, на пространстве от Атлантики до Уральских гор, кого из старших братьев Европа спросит: где твой младший брат?

9-го числа в Мадриде, на Международной книжной выставке-ярмарке я выступил с речью примерно такого содержания. Спустя пару дней, внося в текст незначительные изменения, отвечал на вопросы французского телевидения: “Кто вы и что можете дать “новой” Европе”?

А что даст нам “новая” Европа? С коммунистических времён нам знакома эта монументальная идея – во времена больших походов, используя материальные и человеческие ресурсы малочисленных народов, упорно идти на запад, к новым и новым территориям, вечно стремиться куда-то еще... Боюсь, что в ходе этой новой, космического масштаба “глобализации”, при создании разного рода объединений, привлечении идейных союзников, образовании территорий по религиозному принципу опять пострадают малочисленные народы.

У великих держав будет ещё один повод для ревности к малым государствам. Обеспеченное и защищенное существование, базирующееся на их мощи, сделает их вялыми и ленивыми, подверженными социальным и нравственным недугам, которые обрушатся на них со всех сторон, от чего замедлится ток крови – признак, сопутствующий старению.

А малочисленные нации, живущие под постоянной угрозой уничтожения, следуя инстинкту самосохранения, регулярно будут подновлять свою кровь живительной лимфой, которая – в противовес склонности всего многочисленного, большого к дроблению – позволит им приумножить свою численность. Бдительный страх истребления будет без устали вливать в их жилы молодую кровь, чтобы им не опоздать, не промедлить, не дремать. Поведёт их к творческим дерзаниям и созидательному труду. Вот здоровое начало, дарованное свыше тем, кто мал числом.

И вновь наша “башня” мчится вперед на хорошей скорости. Мы пока еще не понимаем языков друг друга и просто кладем кирпич на кирпич – и растёт стена, образуя что-то похожее на пирамиду. Накал этой тяжёлой стройки, ее недреманное око...

Проезжаем просторы Франции: земля очищена от камней, трава – от сорняков. Дерево, куст, озеро, луг, скала выглядят так, словно ты в секции одежды большого универмага, среди манекенов, где улыбки до того сладкие, что, истекая, как мёд, ложатся складками. Вон девушка – просто красавица... Мы всё еще в поезде.

18.06.2000. Прошло уже немало дней. Из Бельгии направляемся в Дортмунд.

В Брюсселе, в роскошном зале Европарламента почти всем писателям предоставили по две минуты для выступления. Казалось, на сцене идут показательные соревнования. Конечно политические. Из всех выступлений помню только два: одно, в котором азербайджанец умолял Европарламент “Спасите, пожалуйста, мою замученную родину!” и второе – когда грек Георгий выкрикнул: “Свободу Кипру!”

Проект “Литературный экспресс – 2000” потихоньку обретает двойной смысл.

Не пропасть бы в этой грохочущей гонке через все земные стандарты по стальным дорогам Европы, находясь в самой сердцевине того, что имеет право на возникновение, существование и самоуничтожение, и одновременно сопоставляя с ним то место на земле, размером с горчичное зернышко, которое занимаешь сам. Всмотреться и узнать в колючих шпильях, устремлённых ввысь повсюду, от Лиссабона до Берлина, копыта католической веры высотой с небоскрёб, словно удостоверяющих присутствие в самом Космосе Великого Рима с его вселенской идеологией. Общая для людей, населяющих самые разные географические пространства и говорящих на разных языках, эта религия, из века в век внушая свои железные принципы, обусловила культурное единообразие народов.

Даже сверхаккуратные города здесь похожи на тщательно ухоженные, под стать городским паркам, местные кладбища с крестами.

Параллельно этим размышлениям встает вопрос – как бы это правильнее выразиться? – а что даст такая новая Европа нашей стране? Со дня моего приезда прошло уже восемнадцать дней, а я всё думаю над этим.

Быть может, выход из мусульманского тупика? Спасение от сформировавшегося за долгие века комплекса – страха истребления? Завершился XX век, начался XXI, а мы всё ещё прикидываем, будем ли живы. Ни в одной стране, насколько я мог заметить, никакую нацию не тревожит проблема “жизнь или

смерть?». Везде трудятся над тем, чтобы сделать существование своих граждан счастливее, благополучнее, долговечнее.

В недавнем прошлом Варшавское соглашение стран социалистического блока стремилось и расширялось на Запад, Запад же всегда смотрел на Восток. Однако после распада коммунистического общественного строя, при новом распределении сил на континенте, открылись перспективы для построения единого, общего здания Европы – конечно, не без новых сомнений, страхов и недоверия.

Тем не менее глобализация, представляя модель взаимозависимого мира, тем самым даёт нам известные гарантии безопасности, поскольку в условиях объединения экономик и отказа от национальной валюты будущую стабильность по отношению к национальному доходу обретут международная торговля, межгосударственные инвестиции и мощная финансовая система, что делает более тесной экономическую интеграцию объединяющихся стран, с высокой степенью вероятности исключая возможность межнациональных конфликтов.

Однако этого не достаточно для формирования менталитета и духовного облика гражданина “новой”, единой Европы, так как теперь нам придется спасаться уже от тотального единообразия, от вселенского стереотипа мышления.

Хотя принято считать, что европейская цивилизация в основе своей рациональна, тем не менее меня мучает опасение: обретая гарантии физической безопасности, какими мы станем в плане духовном? (Может, я опять мыслю как закомплексованный армянин с обостренным инстинктом самосохранения, который в каждой новой идее ищет угрозу для нации?)

Культура всегда брала на себя роль белого флага. Может стать, этот пущенный нами в “свободное плавание” поезд сумеет мирным путем отпереть закрытые на замок государственные и языковые границы...

Зелёные поля и белые коровы Бельгии. Одна деревня с домиками, крытыми оранжево-красной черепицей, другая такая же... Третья... Четвертая... И моя блуждающая дума о Каине и Авеле. Мысленно всё пытаюсь понять Европу: мы, как два полюса, отталкиваясь, вечно тянемся друг к другу.

Часами брожу по улицам городков, в которых мы останавливаемся, пытаюсь впитать сохранившиеся от некогда эмоциональной Европы формы, цветб и запахи городов; в картинных галереях – портреты трубадуров двенадцатого века, глядящих с теплых холстов в позе романтического достоинства; уличную брань пьяницы, возможно адресованную мне. Стараюсь понять араба с глазами, сверкающими как влажные чёрные оливы, который в одном из кварталов Брюсселя среди бела дня стремительным соколом подлетел к латышскому поэту Марису и, хлопнув по плечу, сорвал с него сумку. А после – тишина... Откуда появился, куда исчез – никто не видел...

Европа со всего света приняла и, как в смирительную рубашку, вобрала в себя мусульманина, его способ мышления и душевное устройство. Возможно осознанно. И, может быть, именно это выведет объединенную Европу на путь спасения.

Экспресс грохочет на стыках железных рельсов. Мы едем в Ганновер.

20.06.2000. Сегодня похороны Араксии, грустно, что я так далеко, не рядом с ней.

У испанского поэта Альберто в самой высококлассной гостинице Дортмунда украли все деньги.

И снова – идет уже двадцатый день путешествия – мы, сто пятьдесят человек из сорока трёх стран, едем всё в том же вагоне, залитом ярким светом, с теми же пассажирами.

Полулёжа в креслах друг против друга, раскинув ноги, подобно Валааму, едущему верхом, запрокинув головы и приоткрыв рты, дремлют “приглашённые” в Европу писатели – как в истории о Валаамовой ослице, которую поведала нам Библия, когда, узрев стоящего посреди дороги Ангела Господня с мечом в руке, ослица свернула с пути и ушла в поле, а Валаам и не заметил...

“Они, однако, спали. С обманчивым обаянием плавания мертвецов на лицах”.

Многие из них так и осталась для меня незнакомцами. Кто знает, может, за “круглыми столами”, в пылу полемики, или в

тамбуре вагона, в очереди перед дверью туалета, они и заговаривали со мной, но эти слова, эти фразы теперь так далеко – абсолютно ничего не осталось в памяти.

Непостижимое пятидесятидневное путешествие в этом загадочном поезде в неизвестность. Его всегда неожиданное вздрагивание на стыках рельсов и на стрелках, бесконечная вереница новых станций превращают зрение, движение, восприятие звуков и красок в некую дремотную иллюзию. Земной шар и всё, что вблизи него, покачивается, приводя на ум *обманчивое обаяние плавания мертвецов*. Мы стараемся быть терпимыми друг для друга. Посмотрим, что будет дальше.

Не могу забыть Брюссель – столицу новой Европы, выверенный с точностью до игрушечного детского кубика квадрат центральной площади. Украшенные рельефами стены зданий – с монахами-праведниками, полководцами, царями и князьями, тучными гусями, роскошные золочёные шпили до небес – парадный блеск архитектуры! И, в центре площади, оркестр сверкающих медью на солнце духовых инструментов, исполняющий сонаты Бетховена.

Европейская музыка подняла человечество сразу на несколько ступеней по шкале цивилизации и положила начало новому, доселе неизвестному роду духовного творчества. В истории человечества случались эпохи, когда архитектура, литература, астрономия или военное искусство были выше европейских, однако музыка Европы за свою многовековую историю, со всем богатством ее форм и стилей, создала такое магическое сочетание звучаний, которое являет собой вершину всех цивилизаций. Именно она формировала глубокую духовность европейского человека, обожествившую его чувства и переживания, что положило начало новой культурной эпохе.

Чуть дальше от центра – арабы, ветер, гоняющий по улицам бумажные обрывки, грязь, неподвижная вода зеленовато-жёлтого канала... у темных углов зданий, на мостах через канал встречающие тебя спокойно-опасные глаза мусульман... отсвечивающая белыми бликами иссиня-черная кожа негров и как две капли воды похожие улицы без указателей.

Долгое блуждание по улицам помогает расстаться с воображаемой Европой и познавать её, пытливно всматриваясь в окружающую культуру и искусство, мимоходом сравнивая их с нашим “местным колоритом” – ворами и авторитетами, вспыхивающими между ними войнами, разборками, братоубийством, нетерпимостью, с нашими нуворишами.

Не устаю удивляться красоте существования этих великолепных стран и городов, той магии, что живет в них.

Каким образом эти страны достигли баланса, согласия своих полярных, разнонаправленных внутренних сил? Конечно, если постараться, можно построить такой же большой и безупречный город, весь из стали и бетона, но чтобы свет в нём звенел – такое возможно только при условии общенационального единения.

Их партии и деятели, каждый по-своему интерпретируя чёрное и белое в сфере политики, не отрицают один другого, а, передавая друг другу традиционную приверженность к лучшему, двигают вперёд дело человечества. Они не нарушают целостность времени, не кромсают его в угоду какой-либо партии или политическому лидеру. Как бы ни были остры противоречия между их общественными объединениями, в одном вопросе – во всем, что касается их народа и их Родины, – они едины. У нас антагонизм партий и политических деятелей непримирим – до победного конца! Нынешние власти не прощают прежним, эти – предыдущим, предыдущие – тем, что были до них. Вражда, сопровождающаяся как идеологическим, так и физическим уничтожением. А девственно чистый дух народа способен существовать лишь внутри совокупного времени, и когда кромсают время, с ним вместе расчленяют и дух. Вот что не возьмут в толк наши ребята, вот почему наш политический деятель, не обладающий этой внутренней силой, не становится мыслителем-метафизиком: целое растаскивают по частям, и каждый на своем клочке сеет своё зерно – зерно сиюминутных потребностей и интересов человека лишь этого конкретного времени, и продолжают из поколения в поколение внутривнутриполитические боксёрские поединки.

Один из постулатов мудрого труда Дарвина “Происхождение видов” учит нас: сколько бы ни противоречили друг другу в своих принципах, программах и идеологиях политические партии, “происхождение вида” у их лидеров одинаково, а значит, и интеллект тоже. Следовательно, важно не то, чем они отличаются друг от друга, а то, в чем схожи, так как существенно ничем в своих стремлениях и идеалах не различаются.

Вернулся с войны доблестный солдат, но государственные и политические структуры не сумели на дипломатическом уровне довести выигранную им войну до конца. От гор и полей, от воды и огня, от зноя пустынь – от чего только мог, наш солдат отрезал, отрывал, тут и там выкраивал, латал и копил долгожданную победу. И вот принёс её домой, – а она, эта победа, надлежащим образом нигде, кроме кладбищ, не была засвидетельствована. Не укоренился в народе победный дух, а следом – и победный облик.

Вот я шагаю по Европе. Откуда же у неё, от Лиссабона до Берлина, столько триумфальных арок и колонн – символов боевой отваги? Откуда во дворах церквей ангелы с распростёртыми крыльями в золотом оперении, склонённые над ранеными солдатами? Откуда эти восседающие на вздыбленных конях полководцы, выпустившие кишки чуть не половине мира?

Сказанное не надо понимать так, будто я проповедую войну. Как церковь – вечная ценность, которая восславляет Бога, так и одержанная в войне победа – ценность национальная. Это богатство хранят в сокровищнице страны, оно осеняет славой целые поколения.

А виной тому, что не был вовремя укоренен победный дух, идеология победившего государства, – опять же немощность политической сферы, недостаточная пропаганда престижа тех, кто воевал, не предоставление им должного приоритета в политической сфере. Нельзя забывать: солдат и добытая им победа – не одно и то же, солдат – категория социальная и, значит, смертная, а добытая им победа – ценность непреходящая, наше национальное достояние...

Мне кажется, есть ещё один серьёзный просчет в нашей фундаментальной ориентации, который несколько видоизмененно проявляется в искусстве: довольно часто мы ограничиваем понятие родины простирающимися на север, юг, запад и восток 29,8 тысячами квадратных километров. И утверждаем, что будто бы только тот художник, у которого за спиной большая, необъятная страна, в состоянии создавать крупные полотна. Но кто сказал, что наша родина – это только горизонтально простирающаяся и геометрически просчитанная территория, которая видна глазу? В вертикальном измерении родина – это еще и небо, в той мере, в какой приемлет его наш разум. С той же силой, что американцы Фолкнер и Уитмен, у которых за плечами бескрайние земли и океаны, его живописал Нарекаци. К географическим параметрам добавил глубины, ведущие ввысь. Нарекаци, Тумаян открыли нашей Родине путь из пропасти, в которой она находилась.

Вчера в Дортмунде нас повели на экскурсию в бывшую тюрьму гестапо. На стене одной камеры было нацарапано “Ольга Восканян” – автограф узницы. Я долго сидел на стуле – никуда не хотелось идти. Вокруг в воздухе витало ощущение одиночества: она тоже меня узнала.

22.06.2000. По немецкому времени пять часов. Подъезжаем к Мальборку через зелёную неводеланную Польшу. Льёт проливной дождь, в окна поезда с обеих сторон хлещет вода. По мере продвижения в глубь страны деревни становятся похожими на наши – полуразрушенные, беззащитные. Откуда-то издали дождь принес с собой грусть... Эти капли, эта вода, эта музыка... Эта великая цивилизация, заставившая Колумба в один прекрасный день пришвартоваться к берегу Америки. Государственные и частные туристические компании с их суперсовременными антеннами и компьютерами, их гребными судами, крейсерами, подводными лодками, самолётами, космическими кораблями, атомоходами и моторными катерами превратили таинственные океанские просторы в узнаваемые территории. Душа человека утратила ощущение значимости моря, между

тем вода – это гимн недостижимой вечности. Каждый участок океана вмещает в себя дождевые капли, рйки, каналы, озёра, мосты, моря, и каждый его квадрат зовет нас остановиться в нём. Уже никто из нас никого ничему не учит, каждый знает лишь отведенное ему. Свой путь я должен пройти в одиночку, с тем, что имею, тем, что есть. Отвратительная и грустная борьба. Вселенская суета и печаль.

Вчера в Ганновере я побывал в армянском павильоне Всемирной выставки “Ехро-2000”.

Кто такой Ной? Потоп унёс его ковчег, прибил к Арарату и остановил на его вершине. Что такое Арарат? Наша Святая Гора, которую у нас, затеяв геноцид, отняли.

На фоне этих двух символов развернута экспозиция Армении на выставке, а на стене напротив висит подробная карта тех шести вилайетов, которые мы потеряли.

В свете такой аргументации экспозиция живо напоминает эпизод из народного эпоса, когда Мгер, проклятый Давидом, заперся в пещере.

Смысл этой мудрой притчи понятен: самое страшное наказание и великое несчастье для человека на земле это превращение мгновения в вечность. Изъять, вырвать человека из времени, в котором он живет, и задержать в его движении – это и есть тёмная пещера. Та самая заколдованная пещера, откуда мы никак не выйдем. Много лет мы без остановки ходим кругами внутри нашего Агравакара*. Воспоминания прошлого непрестанно взывают к нам оттуда, а мы, охваченные мистической верой, застыли посреди столетий, стоим и ждем той поры, когда пшеничное зерно будет величиной с орех, а ячменное – с ягоду шиповника.

Но ведь в общечеловеческой сокровищнице цивилизации есть и наши ценности, и у нас нет права прерывать наш путь, наше шествие вперед.

* “Вороний камень”, скала, в которой заперся Мгер, один из героев эпоса “Давид Сасунский”.

Прогресс мировой цивилизации и наша память о прошлом – вот две крайности, два полюса, между которыми мечется наш человеческий тип. Нам понадобится вся сила ума, чтобы суметь соединить эти два полюса, и бдительность – чтобы не остаться на обочине мировой культуры.

Всю свою сознательную жизнь я ждал мессию – ПРИЗВАННОГО с горящей во лбу красной отметиной, который преподнес бы нам общенациональную программу.

Есть и другие причины для грусти – мне было очень грустно.

На одной из центральных улиц мы наткнулись на сидячую демонстрацию курдов. Вокруг них плечо к плечу плясала танцевальная группа, время от времени скандируя: “Свободу Оджалану!” Они тоже, изменив имя моей исторической родины, именуя Месопотамией, считали её своей землей... Но человеку грозила смертная казнь, и я крикнул вместе с ними: “Свободу Оджалану!”

Девушка из нашей группы, красавица с грустными голубыми глазами, смотрела на меня и вторила моим выкрикам. Грустными – неточное слово, правильнее будет сказать, печальными глазами. Потом эти глаза, с тем же выражением, я встречаю спустя пару недель в Берлине и, увидев их, пойму, что печаль – чувство цельное и несет в себе еще и ум. В одном из берлинских кафе вместе с несколькими писателями: исландцами, немцами – мы будем пить кофе и пиво, и она с нами, и её спросят: “А ты откуда?” Она ответит: “Из Турции. Я родилась в Эрзеруме”. И меня спросят, и я скажу: “Отец моего деда похоронен в Эрзеруме, мой дед – в Джавахке, отец – в Армении”. И подумаю про себя: “Я кружил вокруг Эрзерума, как кружат вокруг огороженного забором яблоневого сада”. Поэтесса-турчанка с грустными голубыми глазами спросит: “Где прошло твоё детство?” Я расскажу про мой Ахалкалак, про то, какие там лили холодные дожди, так что пролетающие журавли, к нашей детской досаде, никогда не спускались на землю – сколько нас ни убеждали наши деды надевать шапки задом наперед. В наших краях жило поверье: если при виде летящих по небу журавлей повернуть шапку назад козырьком, стая приземлится на лужайку.

Но все наши усилия были напрасны.

Красивая девушка с грустными голубыми глазами, сидящая на противоположном конце стола, посмотрит на меня. Печаль – чувство цельное, несёт в самом себе еще и ум.

25.06.2000. Калининград, государственный университет, круглый стол. Собрался преподавательский состав, всех представляют нам, называя титулы: профессор, доцент. Вместе с нами, приглашёнными писателями, публики человек шестьдесят-семьдесят. Темы дискуссионные.

После Мадрида это было моё второе программное выступление, заранее подготовленное ещё в Армении: “Литература и война”. Приняли кто холодным молчанием, кто хорошо. Рядом со мной сидит азербайджанец. Говорит: “Я думаю над тем, что ты говорил”.

Выступает француз – в самых общих чертах...

Мои мысли уходят далеко.

Память народа хранится в неповторимой глубине нашего языка. Сохранится ли эта глубина и память? Когда Европа с ее союзом сорока пяти стран со своими сорока пятью языками достигнет Кавказа, не задавит ли она символы нашего прошлого и нашу культуру? Впрочем, в мировой истории есть примеры, когда цивилизация и культура существуют отдельно друг от друга, как, например, в Южной Корее, где есть великая цивилизация, но нет культуры. У нас есть богатая культура и нет цивилизации. А Европа имеет и то, и другое.

*Мы долго шли по дорогам истории,
Неуправляемые, разобщенные, без идей,
От древних веков к этому гениальному настоящему...*

Строки Чаренца пришли на ум под влиянием мгновения, однако это мгновение имеет и другую сторону: Гений не имеет национальности. Он и Родина – антиподы... Просто Гений вдобавок ко всему любит землю, на которой родился, а Родина и любит Гения, и убивает его собой. Вечное противоборство духа созидания и духа уничтожения. Поединок между Чаренцем и

родиной это ее стремление умертвить Гения на своей земле, замуровать его в темнице – и его любовь к беспредельности. Именно из этой любви ОН и позволил умертвить себя...

Азербайджанец просит позволения выступить во второй раз, говорит много добрых и хвалебных слов в адрес организаторов “Литературного экспресса”. Может, для единства Европы это тоже важно? Вернувшись на место, спрашивает, не дам ли я ему текст моего выступления для опубликования в их прессе, при этом разговор ведёт так, чтобы было слышно присутствующим. Это испытание: если я искренен в своих взглядах, то вроде бы должен согласиться, но почему-то колеблюсь. В итоге мы договариваемся, что я дам ему копию. В тот же вечер радиостанция “Свобода” пустила это выступление в эфир под названием “Война и литература”.

Вот посреди вечного покоя Вселенной плывет земной шар, похожий на раздутое круглое пузо, его пупок – библейское Закавказье – дрожит и сотрясается, кровоточащую рану этого пупка непрерывно посыпают солью.

Обильная кровь, пропитавшая эту сухую землю, вызывает в жителе Кавказа поистине животный страх и панику, напоминая об угрозе истребления.

Здесь и сейчас войны и стычки совсем не похожи на те, что бывали во времена аргонавтов, пустившихся в плавание за золотым руном. Тогда, если случалось, что воин, поражённый стрелой или мечом, падал на землю, по счастью пролетавший той стороной ангел, видя это, спускался с небес и, коснувшись раны целебной травой или пёрышком, дарил ему спасение.

В армянских сказаниях говорится о том, как раненный в бою воин, пожевав щепотку родной земли, залеплял ею свои раны – кровотечение прекращалось и смерть отступала...

Библейский мир был сторонником продолжения человеческой жизни.

Сейчас войны в Закавказье иные. Ангелы, летящие по здешнему синему, сияющему небу, уже не в состоянии спуститься на землю, охваченную огнем, если же спускаются, то, так и не дождавшись помощи, погибают вместе с воином.

Я сам, как очевидец такой войны, много раз слышал голос Бога и за спиной, и впереди, я слышал, как звал он в одночасье исчезнувшую с лица земли свою гору, своё озеро, свой город и яблоневый сад, своих людей и пропавших ангелов.

Из этого кошмара, одиночества и хаоса каждый лидер государства или вождь племени извлекает свою музыку: они ввергают в пожар войны целые народы и заставляют их плясать под придуманную ими мелодию.

Человеческая мысль, слепая, блуждающая, нерешительная, столетиями подвластная воле краснокудрого сатаны с его выверенной игрой, без конца оборачивается назад и, повернув обратно, вновь приходит к началу: века напролет все те же войны и тот же мир – ну никак не уйти человеку от этого вечного повторения, от самого себя не уйти...

Закавказье, в силу своего географического расположения, уже не одну тысячу лет, как ночной мотылёк, летящий на пламя, мечется между Востоком и Западом. Именно по этой причине не сформировалось Закавказское единство.

И всё же пока это не так.

И разжёванный во рту, загустевший, как глина, комочек родной земли, приложенный к ране, уже не спасает от этих войн.

Чтобы родина наша была неприкосновенна, задача писателя сейчас не в сочинении героических романов в патетическом духе для воспитания солдат-воинов, а в убеждении, что исчезновение какой бы то ни было одной нации, одного-единственного государства равносильно гибели всего земного шара. Литература – это шанс заставить людей ненавидеть войну, независимо от того, чья это война, какой страны, какой державы. Путь спасения современной планеты, современного человека проходит через ту страну, где ее гражданин строит дом, где он создает условия для своего художника и артиста, содержит свои заводы, свою жену, своих детей; страну, где множатся банки и процветает добродетель, страну, где под жарким солнцем волнуется пшеница, где озёра кишат рыбой, где всяк радуется изобилию: собаки – на плоских крышах, зарывшись в охапку соломы, кош-

ки – на подоконниках, выгнув спину; где дети учатся радостно, где дева весела, пламя газовой плиты не гаснет и хвала жизни возносится ежечасно...

Вернувшись в гостиницу, понимаю, что во всём этом больше политики, чем литературы.

26.06.2000. Направляемся в Литву. Думаю о том, что, в сущности, не знаю ни одного иностранного языка, даже разговорным армянским в достаточной мере не владею. Несколько лет назад я очень переживал из-за этого. Даже зная, что эмоциональные проявления вообще не поддаются передаче в словесной форме.

Потом я нашёл людей, которые некогда удалились в пустыню, дав “обет молчания”. Они жили отдельно от мира, разделяя, однако, его радости и горести: один – с помощью красок, другой – слов, третий – путем глубокого познания. Летописец, художник-миниатюрист, мудрец до завершения своего творения, будь это год, два или десять лет, подчиняясь данному обету, немели, ища словб, цветб, тайные смыслы событий – внутри себя.

Однако наш век побед и поражений, который придумывает законы и манифесты для политических партий, конфессий, индивидов и общественных организаций всех мастей, не желает признавать право тех, кто хочет жить, дистанцируясь от своего века, от мира. Его лазутчики разведали все пути, ведущие в пустыню, перегородили их запертыми на засов железными воротами. Остается только гора с пещерой – та гора, что внутри нас, остается уход в себя...

Благодарить Господа за жизнь, прожитую в немоте, не уметь высказать то глубинное, что есть только в одиночестве, на пути отшельника... И хорошо, что так... Изнуряющее, отвратительное строительство вечности...

Организаторы вызывают подозрение своим однобоким образом действий. Думаю, не повернуть ли домой из Москвы... В голове пульсирует гнев, накатывает волнами – я знаю даже их количество и цвет. Мы еще до Вильнюса не добрались, а я уже

устал, как в пустыне под солнцем в зените. Сегодняшнее присутствие азербайджанца в нашем вагоне – для меня испытание, каждый день возобновляющееся...

28.06.2000. Из Литвы едем в Латвию. Идёт дождь. Сумеречный свет. Наше участие в Европарламенте или полноправное членство в новом Европейском доме дело хорошее. Однако глобализация подразумевает, в первую очередь, новую систему взаимосвязей, которая благодаря революции в сфере общения и информации изменит процесс мирового развития. И именно это больше всего пугает, ведь в первую очередь подвергнутся разрушению культура и язык малочисленных народов. Не имея достаточного количества переводчиков, они не в состоянии будут ни знакомиться с другими культурами, ни сохранить свою. В итоге будут вынуждены принять в качестве главенствующего язык какой-нибудь из крупных держав, вторгшейся в их страну, и будут смяты мощью ее культурного потока. Вместе с тем неоспоримо, что перед работоспособным населением малых и слаборазвитых государств откроются перспективы – возникновения новых рабочих мест, повышения оплаты труда. Будет исключена сама возможность массовых репрессий в отношении населения (ГУЛАГи), расширен круг его прав и возможностей путем вовлечения людей в общеевропейскую общественную жизнь.

Конечно, будут происходить и мировые финансовые кризисы, подобные тем, что разразились в странах Восточной Азии, когда финансовая нестабильность одной страны заставила биться в конвульсиях другие государства.

Мы станем свидетелями скоротечного истребления народов смертельными болезнями, такими как СПИД, холера. Наступит разгул терроризма и убийств ярких личностей. Возникает вопрос: как так случается – и так это было на протяжении веков, – что это они выбирают нас, приближают, отстраняют? Отчего мы всегда оказываемся на пересечении чужих дорог? И уж если такова воля Божья, чтобы мы вечно там оказывались, разве нам не следовало хотя бы прорыть подземный переход под тем перекрестком?..

Мне хочется держать закрытыми окна моего дома, а они силой распахивают их навстречу Европе.

Наше вступление в Европейский дом неоднозначно: с ним настанет время рисков и открывающихся возможностей. Если общемировое давление, политика, а на данном этапе еще и наша национальная безопасность требуют нашего присутствия в нём, значит, нам необходимо уже сегодня начинать большую дипломатическую подготовительную работу.

Однако наша внешняя политика слаба и нецеленаправленна – со своими бессильными посольствами, хилой материально-технической базой, с человеческим ресурсом, крайне редко профессиональным, а в основном любительским, роль которого сводится к чему-то вроде “фотографического” присутствия в том или ином городе...

С козырьков вагонных окон капает... Хмурый дождь... Меня не покидает мысль: открылись какие-то двери и снова нас будут куда-то запихивать... Всегда так было, и вот опять... По оконному стеклу сбегает вниз дождевая капля... мелькает как вспышка жёлтая дверь домика... видна белая корова... промокшие люди...

30-е число шестого месяца, 2000 год. Мы едем в Эстонию. Лес, кедровая роща. Дерево за деревом... дерево за деревом... Летящие мимо точки, проплывающие точки – кедровые стволы цвета охры. И снова о сюжете повествования: все та же загадка – есть он или нет?..

Думаю – нет, при таком подходе рассказы из моей первой книги напрочь лишаются смысла...

Сейчас, когда в стремительном беге поезда деревья за окном перетекают друг в друга, ко мне приходит понимание, что человеческая мысль забывается последовательно: всякая предшествующая история подлежит самоуничтожению. Мне суждено исчезнуть в моем создателе.

Внутренним зрением, так называемым третьим глазом, мы должны осознать мгновенную краткость человеческой жизни и вечность ее сути и именно в этом искать эмоциональную глубину, которая простирается за пределы сознательного мира.

Современное “новое” европейское мышление пренебрегает ценностями, когда-либо созданными человеческой историей. Торговые и деловые отношения вынуждают людей легкомысленно выставлять на продажу живопись, музыку, литературу и всё то, что достигнуто всплесками человеческого гения в прошлых поколениях. Шедевры переиначивают, включают в юмористические передачи лёгкого жанра, превращают в телевизионные фильмы, шоу, мультфильмы. Жемчужины классической музыки звучат в модных салонах. Самое опасное при этом – адаптация: когда величайшее достижение мысли приспособливают под смех, всё самое существенное в нём, как правило, опускают.

В наши дни, чтобы писать, надо быть сумасшедшим, если же эта болезнь неизлечима, значит, надо писать так, чтобы написанное не подчинялось какому-либо плану. Роман не должен быть пересказом, он должен существовать вне сюжетных канонов единства действия, поднимая из глубин чувственного настоящего суть бытия и его бессмысленность, его форму и аморфность, смену эмоций...

Во время нашего путешествия, участвуя в пресс-конференциях, в “круглых столах” разных университетов и в общественных встречах, знакомясь с письменным и устным творчеством писателей Европы, я убедился, что наша поэзия, как древняя, так и современная, если не превосходит европейскую, то, во всяком случае, ни в чем ей не уступает.

05.07.2000. Движемся по латаным железнодорожным путям бывшего Советского Союза. Наша Вавилонская башня из Эстонии по зелёным просторам плывет в Санкт-Петербург. Дождевая вода ветвится, стекает по стеклу. Ещё в Калининграде началось действие паспортного режима, пограничники натренированно-вежливо проверяют наши документы.

Предложения, лишённые энергии, выходят вялыми, мысли – грустными. Казалось бы, чего ещё мне надо: такое путешествие, так много стран, чего ещё желать?.. Лишь одного – не видеть этого человеческого блуждания ошупью от дня своего рож-

дения до смерти, от счастья к несчастью, от времени к безвременью, этого непрерывного людского копошения...

Почему я не могу радоваться, Господи?.. Может быть, потому, что внутри себя говорю со своим молчанием?.. Или, быть может, я еду в поезде, а моя душа пешком бредёт за ним? Как раз сегодня, ранним утром, я ненадолго задремал в кресле и увидел это во сне, проснулся – удивился, опечалился... Мы не останавливаемся, чтобы подождать отставшую от нас душу... Время течёт, сыплется, как песок, сквозь поезд, сквозь эту Вавилонскую башню... Можно быть и счастливым, и грустным... Дверь открыта...

06.07.2000. Москва. Стены дома. Дом толкает человека на разумные страдания. В жизни мужчины есть определенный возраст, когда стены дома становятся самым главным для него. Дом – символ разумного страдания. Есть на земле особая пора – только войдя в этот возраст, человек берёт лопату, раскапывает землю под фундамент и строит дом. Это означает, что он уже готов к страданиям, то есть к смерти ближнего, расставанию с сыном, и значит, пришел черёд и ему умирать. Дом там, где осмысленное и лишённое смысла делает нас созревшими для разумного страдания. Стена дома, и мы, и наша смерть...

07.07.2000. Москва-река, мы на пароходе.

Цвет воды – мутная зелень абсента. Пароход сопровождали все существующие тайные и явные спецслужбы на небольших моторных лодках. На палубе оркестр играет джаз, обилие закусок. Россия – страна эмоций и ритуалов.

Сколько бы ни говорили, что Париж – это красавица девушка, разбросанные там и сям округлые арки делают его похожим на виляющую бёдрами распутную женщину, а Берлин со своими напоминающими фаллос, устремлёнными ввысь крепкими колоннами, торчащими на площадях и на въездах в город, при всем его национальном аскетизме – город-мужчина, самец, тем не менее Европа держит баланс благодаря двум неизменно тяготеющим друг к другу государствам с противоположной, но одинаково чувственной культурой – Франции и России.

Сегодня Франция – усталая седовласая страна, и встречающая вас на каждом шагу её богатая культура свидетельствует об искусстве, рожденном в горниле страстей, некогда двигавших вперед историю человечества. Об искусстве, оставшемся от того времени и эмоционального образа жизни, которое ныне – всего лишь форма.

Проплывает коряга – толстый, ветвистый ствол, наш пароход движется ему наперерез. Вода – цвета зелени абсента, течение – надо научиться так плавать: целиком отдаваясь течению...

12.07.2000. Варшава, гостиница “Полония”. Беларусь, Минск остались позади – как пустота, как в темноте ночи – огонёк мерцающей вдалеке одинокой сигареты.

Страна, где дождливой ночью в чьём-то доме я оставил свою рубашку, чтобы всегда верить в свое возвращение... как в пустоту...

Не пойму, в чём дело: закон толпы, который проявил себя в первые дни путешествия, повторяется снова, ситуация та же, столь же необъяснимая в своей реальности... В чём секрет?..

Один раз камень, другой раз кулак, однажды мяч, случайный порез ножом, еще как-то комар – все они отняли у меня кровь... Отнятого назад не требую... Почему смысл сказанного мной вылился в бесконечность безмолвно-шумных слов – ты знаешь сам.

“Ты” – это я, ускользящий от края пропасти, и моё существование протекает на острие самого интересного.

Опускается чёрное... Знак колебания, знакомый со времен Каина. Кроме него существует разумное чёрное – страдание наделенного даром речи...

Бэла Гулакян, Армен Джигарханян

Долги наши

Бэла Гулакян: “Вам надо успеть это опубликовать”, – сказала уважаемая коллега-учёная, удивив сопровождавшую меня даму: “Какая бестактность!” Я же восприняла её фразу как непроконтролируемое этическими тормозами, но вполне понятное откровение: “Надо успеть!” Оно врзалось в сознание и заставило задуматься над всем, что сохранила память, чем можно и должно поделиться с другими, сделав это достоянием не только своим. Это ощущение обусловлено определённой возрастной ситуацией, когда раз от разу понимаешь, что безвозвратно потеряна еще одна возможность сказать человеку что-то важное, порадовать его, приблизиться к нему ещё на один шаг. Сознанием этой ответственности, чувством долга перед ушедшими мучаются многие, пережившие своих близких, любимых, кумиров...

Время идёт, уходят один за другим те, кто окружали нас, составляли ту среду, в которой мы пребывали долгие годы и наивно думали пребывать всегда. Привычка притупляла ожидание неизбежности потерь, и только уход близких наполнял отрезвляющим чувством невыполненного долга и вины. Приходит время, когда мы осознаём, что именно от нас зависит сохранение значимых примет времени и памяти о людях, представляющих это время. Как бы мне хотелось сказать сейчас Мише Козакову, что книга его мне очень нравится и читаю её я с большим удовольствием. Слова благодарности не пошлешь вдогонку, и потому постараемся по возможности сказать всё, что не успели сказать, и сделать то, что

не успели сделать. Через годы особенно ощутима та мера благодарности, которую мы должны принести тем, кто нас учил, – нашим Учителям.

Нас с тобой объединяет глубокое уважение и любовь к монументальной личности, с которой мы оба соприкасались в разных жизненных обстоятельствах и с магией которой мы не расстались. Масштабы этой личности ты знаешь как никто другой, я же благоговела перед ним всегда. Есть люди огромной природной одарённости, реализовавшие себя в творчестве, но в силу жизненных обстоятельств не преодолевшие пространственные рамки так, как это должно было быть по их значимости. Они сделали очень многое и делали это талантливо, но остались в локальных рамках, будучи, тем не менее, известными и оцененными за границами своего региона людьми, профессионально им близкими. Эта несправедливость остро ощущается тобой, и ты, с необычной для людей твоей профессии в целом и твоих профессиональных масштабов – в частности, постоянно обращаешь свою благодарную память к Учителю. Это не может не вызвать самого глубокого уважения и восхищения, ведь в жизни гораздо чаще сталкиваешься с равнодушием, забвением, чем с искренним, не гаснущим с годами почитанием. Я глубоко уважаю в тебе это человеческое и профессиональное качество и хочу еще раз поговорить с тобой об Армене Карповиче Гулакяне, преодолев какие-то внутренние трудности, за давностью лет совсем несущественные... Как бы то ни было, мы оба пронесли через наши жизни любовь к этому человеку, и я постараюсь немного дополнить твои воспоминания об Учителе тем, что я знала о нём вне рамок общения со студентами театрального факультета, на котором ты учился.

Армен Джигарханян: Могло бы ведь сложиться иначе, и я попал бы на курс кого-либо другого. Это было жизненной удачей, и я именно так оцениваю учёбу у А.К.Гулакяна. Речь не только о профессиональном обучении. Масштабы его человеческого влияния были равны тому высокому классу вхождения в ремесло, которое нам удалось получить. И по сей день мы, учившиеся у него, отдаём долги за то профессиональное богатство, которым наделил нас Учитель.

Б.Г.: Абсолютно нейтральный человек, попавший на вечер памяти Армена Карповича, делился своими впечатлениями. Его по-

разило то, что выступавшие на вечере люди искусства, знавшие его, отмечая его высокие профессиональные достоинства, обязательно говорили и о его строгости, даже жёсткости в работе. Создавалось впечатление, что от какого-то трепета и даже страха они не избавились и после того, как его не стало. Складывался образ грозной, мрачной личности, не совместимый с добрыми человеческими качествами. Соответствовало ли это действительности? Знаю, что ты будешь возражать против этого, и причиной будет не только желание оградить имя Учителя от каких бы то ни было ложных обвинений, но и личная убеждённость в его человечности, участии в судьбах людей – в частности, его любимых студентов. Он знал о вас все, угадывал характеры и намечающиеся судьбы.

А. Дж.: Полноценное освоение творческой профессии невозможно без тесного человеческого сближения учителя и учеников. Всевидящее око учителя не только видело, но и предугадывало наши радости и беды. Скупое проявляя своё участие, он тактично сопереживал нам, молодым, неопытным, слабым. В сложном переплетении проявляющихся профессиональных черт и характеров он предугадывал наше актёрское будущее, заранее определяя творческие ниши каждого, и был в этом абсолютно точен. Это была тонкая воспитательная работа провидца, бережно ведущего каждого в соответствии с его возможностями в сложный мир искусства. Годы сближают нас с личностями, живущими рядом или уже ушедшими. Наше глубочайшее уважение и затаённая любовь сочетались с робостью, боязнью нечаянно оступиться. Это естественное сопровождение поклонения особо ощутимо в освоении творческих профессий. Малейшее слово недовольства мучило подолгу, заслоня собой все другие чувства. Но зато какой заряд давало слово поощрения! Суд Учителя был самым высоким судом для нас. Осознанно, а порой и не совсем осознанно, мы соотносим свои удачи и неудачи с тем, как оценил бы их он. Настоящая учёба продолжается всю жизнь, и в этом бессмертие настоящего Учителя.

Его жёсткость и внешняя суровость были оправданны: художественный руководитель театров в их труднейшие годы, вынужденный освобождаться от профессионально негодных, требовавший по всей строгости от всех полной отдачи в работе. Он, конечно, мог выдержать условия работы театрального руководителя в те годы благодаря требовательности, жёсткой дисциплинирован-

ности, решительности “во имя”... Отсюда враждебность одних и многолетняя благодарная любовь других. Все эти качества Армена Карповича окупались высочайшими профессиональными результатами, делавшими театры, в которых он служил, настоящими очагами высокой культуры. По прошествии лет всё более и более понятно, что диктат его в театре был оправдан, неизбежен и необходим во благо дела. Вспоминая его постановки, в частности, в оперном театре Еревана, сравнивая их с самыми известными постановками на мировых сценах, можно с удовлетворением отметить: его постановки были на самом высоком уровне, без каких-либо скидок на время и “провинциальность”.

Б.Г.: Постановки шедевров армянской национальной драматургии, русской и мировой классики становились настоящим пиршеством театрального искусства. Редкий горожанин тех лет не знал мелодий оперной классики, идущей в Ереванской опере, не смотрел по многу раз театральных постановок. В ограниченном пространстве региона театры привлекали всех, были доступны и взрослым, и детям, играли самую активную просветительскую роль. Актеров встречали на улицах, знали и любили многих из них – словом, театрами были почти все. От тех времён осталась память, запечатлённая в публикациях, порой искренних, правдивых, восторженных, а порой – “казачных” (и такое бывало), соответствующих некоей заданности свыше и больно ранивших его. Самый же высокий суд – суд зрителей, очевидцев его постановок, к сожалению, вещь невечная, с годами уходящая в небытие. Много ли осталось тех, кто видел его постановки, слушал его интереснейшие выступления, питался его профессиональными советами? Их совсем немного, и поэтому давай вспоминать и по мере сил восстанавливать его облик – Артиста, Учителя, Человека.

А.Дж.: Как сохранить образ личности, если после неё остаётся в основном живая память – вещь, к сожалению, не бессмертная? Какая же огромная ответственность ложится на всех, кто знал и общался с теми, которые стали достоянием сообщества людей искусства, науки, жизни в целом. Ощущение долга – не только проявление ответственности, но и объяснение собственной судьбы, в формировании которой участвовали родные, близкие и все, учившие нас.

Случилось так, что он, сын бедной многодетной семьи, решился с несколькими друзьями проделать пешком путь по Военно-Грузинской дороге от Тифлиса до Москвы. Его вело ощущение необходимости приложить свои силы к чему-то настоящему, познать мир, который лежал за пределами навсегда ставшего его плотью и кровью родного Тифлиса. Ни годы обретения профессии в Вахтанговской студии в Москве, ни время дальнейшего творчества в Ереване не стерли этот налет принадлежности к Тифлису, его особому роскошному многоцветью, бьющему через край жизнелюбию. Он перевёл всё это на киноязык “Пэпо”, в котором дебютировал как помощник режиссёра и блестяще сыграл роль Кинто – свою единственную кинороль, ставшую своеобразным символом этого шедевра армянской кинематографии. Учеба в Москве сделала его крепким профессионалом, он сроднился с театральной жизнью столицы и отсюда через всю свою жизнь пронёс дружбу с Рубеном Николаевичем Симоновым, мхатовцами, артистами, музыкантами, художниками, режиссёрами.

Крепкая дружба связывала его и по Тифлису, и по Москве с Арамом Ильичом Хачатуряном, очень родным ему по духу. За гостеприимным столом его дома бывали Вера Давыдова, Зара Долуханова, Рубен Николаевич, Арам Ильич, актёры грузинского театра, родные ленинканцы. В стенах его квартиры звучали мелодии балета “Спартак” в исполнении автора. Обсуждались проблемы постановки балета и грядущие премьеры в “Большом”. Он состоялся как режиссёр самого высокого класса. Была возможность остаться в Москве и начать работать. Его позвало на родину, в Армению, сознание необходимости приложить свои силы к развитию театрального искусства именно в родной для него стихии. Интуиция не обманула его: сквозь бытовые сложности, тяжёлую болезнь, трудности театральной жизни, привыкание к непростому окружению – в работе его сопровождал неизменный успех, а общение с самыми высокими авторитетами в Армении и вне её убеждало в правильности выбора пути. Связь его и дружба с крупнейшими деятелями искусства были основаны на доверии к нему, внимание к его творчеству распространялось на всё театральное пространство страны. Выражением особо высокой оценки было его многолетнее участие в работе Комитетов по присуждению Сталинской

и Ленинской премий в области искусства. Имя постановщика привлекало в оперный, драматический театры взыскательную ереванскую публику, и ожидания её оправдывались полностью.

Б.Г.: Творческие взлёты, громкие успехи, вызывая признание и благодарность, не могли не породить и низменные чувства у некоторых. Жизнь есть жизнь, и на переломе её течения ему пришлось столкнуться и с самым страшным библейским грехом – предательством близких и даже учеников. В один из самых драматичных моментов жизни, когда его предали почти все – кто из страха, кто из зависти, – после голосования на собрании коллектива театра, вечером к нему явились с повинной два режиссёра театра с женами-актрисами. Оказавшись свидетелем какого-то театра абсурда, я с ужасом слушала их сбивчивые покаянные речи и попытку объяснить необходимость быть “солидарными” со всеми под страхом репрессивных мер “сверху”. Удивительно, фантастично было наблюдать, как он переживал это, как держался, с какой любовью говорил о молодом электрике, единственном, кто пошёл против “воли” коллектива театра и открыто выказал поддержку Мастеру. Электрик, естественно, мог бы найти работу и в другом месте, но, помимо этого, он не мог понять и принять животный страх, охвативший всех (очевидно, воспоминания о страшных годах репрессий у многих не ушли из памяти). Слава Богу, процесс удалось приостановить, и Гулакян смог продолжить работу в других театрах. Только не счесть шрамов, оставшихся на его сердце. А ведь нужно было продолжать работать, в том числе и с людьми, предавшими его.

Жестокая ситуация, ощущение пустоты, боль – что это? Обязательные спутники творческой деятельности? А если добавить еще и предательство, под каким бы предлогом оно ни совершалось? Расплата за мудрость, умение отделить настоящее от суетного слишком высока. Горькие уроки постоянно напоминают о себе. Противостоять им, не оценивать всё и вся в свете случившегося – самое сложное в жизни и работе. История повторяется порой в самых худших своих проявлениях. С упрямой периодичностью возникают битвы ведомых с ведущим. И хотя в итоге эти битвы кончаются проигрышем “команд”, талант бывает повержен. Он еще может подняться, проявить себя на другой почве, но раны, нанесённые таланту его детьми-учениками-воспитанниками, не из-

лечиваются. Примеры? Их тьма. Причины? Неудовлетворённые амбиции и желание хоть как-то потешить себя унижением стоящего на пьедестале, недостижимо высокого, общепризнанного. Неистребим геростратов комплекс.

А.Дж.: Он находил утешение и подлинное наслаждение в общении со студентами. Его безошибочное чутьё позволяло отбирать самых способных и пестовать их не только как будущих профессионалов, но и как достойных людей. Невзирая ни на какие сложности, особенно трудно преодолимые в замкнутой среде одного региона, одного театрального сообщества, он всегда, как магнит, притягивал многих, учеников – “своих” и “не своих”. Они питались его энергией, становясь пленниками его невероятного обаяния, мощного таланта. Это утешало его, поддерживало. Странно, но после диких событий в доме не убавилось народу, и за большим гостеприимным столом собирались в праздники и будни старые и молодые, местные и заезжие, знающие ему цену и питавшие к нему неисчерпаемый интерес, и профессиональный, и человеческий. Праздничные встречи завершались самым тёплым и искренним застольем со студентами. Робость и естественная скованность постепенно преодолевались, и сначала несмело, а затем в полную силу шёл самый любимый им спектакль молодых талантов. Каждый старался представить себя в лучшем виде перед Учителем. Царила атмосфера соревновательности, чистоты, любви. Его одобрения ревниво искали и известные уже артисты армянской сцены Фрунзик Мкртчян, Хорен Абрамян, Армен Хостикян. И не важно было, кто участвовал в спектакле – “свои” ученики или “не свои”. Сила его влияния распространялась на всех и роднила всех перед Мастером. Как это его радовало, сколько тепла излучали его глаза, как хотелось сохранить эту атмосферу подольше, как не вязалось всё это с клеймом “диктатора” и “деспота”!

Нас согревало чувство причастности к делу большого мастера, принадлежность к его школе. Возможность пообщаться с ним в непринужденной обстановке ничуть не снимала ни чувства ответственности, ни трепетного ожидания одобрения. Это были профессиональные экзамены и возможность увидеть Учителя в другой ситуации, в роли главы семьи, в обычной жизни. Открытие человеческих качеств Учителя, формирование облика человека в обыденных жизненных ситуациях, дополнение чувства глубочайшего ува-

жения, пиетета подлинной трепетной любовью формирует истинный моральный авторитет, жизненную опору для учеников. Им подпитываются давно уже состоявшиеся в профессии его выученики, с любовью обращающие свою память к истокам своего профессионализма, к счастливым годам ученичества, общения с Мастером.

Б.Г.: Внешняя жёсткость, присущая рабочим моментам театральной жизни, была необходимой частью деятельности руководителя. В запутанном мире конкурирующих амбиций диктаторство – способ сохранить то, что делает театр театром. Это надо понять и принять на фоне многочисленных фактов “потери лица” лучших театров после ухода их успешных руководителей–“диктаторов”, понять и принять людям “со стороны”, поклонникам театральных коллективов, переживающих закат их любимых театров. Но понять и принять диктат, как бы он ни был профессионально обусловлен, умеют далеко не все личности, амбиции которых не удовлетворяются. И здесь не застрахован от ненависти, смертельной опасности ни один даже самый талантливый и объективный “диктатор”. Вся горечь, все события в непростом театральном существовании обсуждались дома, а наутро надо было окунаться в гущу такой притягательной и такой непредсказуемо жёсткой будничной театральной жизни, которая доставляла её участникам всё – от самого высокого творческого наслаждения до самых неизменных проявлений человеческих страстей. Каков был главный участник этой жизни, каким представлялся он другим её участникам, какие слухи формировали его облик для посторонних на основе сплетен и домыслов о неизвестной для многих его личной жизни? Гений в жизни защищён своим талантом, успехами, любовью окружающих, но он же порой абсолютно беззащитен перед праздным любопытством, мелочной злобой, непрекращающимся беззастенчивым преследованием толпы и даже одного отдельного ничтожества. Понимание и сочувствие окружающих часто бессильны защитить его при достаточной назойливости злопыхателя. Талант, Ум и Человечность зачастую остаются один на один с бездарностью, злобой, низостью. Зло активно, оно питается отсутствием совести и стыда. Доброту же постоянно сдерживает порядочность, делая её нагой и беззащитной. Его доброту и участливость испытали на себе те, кто нуждался в этом. Я надеюсь, что жива и помнит о нём дочь артистки хора оперного театра. Ей поставили

страшный диагноз, и положение её было почти безнадежно. Постоянной темой разговоров дома была болезнь этой девочки. Он говорил об этом с полными слез глазами, делая домашних соучастниками ситуации. Он добился, чтобы девочку прооперировали в Москве, дали ей и её семье надежду на будущее. Я видела эту девочку в Ереване. Она шла рядом с матерью, прихрамывая, но уже здоровая. Они чему-то смеялись. А дома снова шли разговоры об этой семье, с глазами полными слез, но уже не горечи, а счастья.

Его доброта простиралась на многих. Он постоянно испытывал беспокойство за близких. Его отношение к единственной внучке граничило с абсолютным поклонением. Он любил её безмерно, не мог расставаться с ней. Девочка с момента своего появления на свет была в центре его внимания, он хотел наблюдать её постоянно, считая все её действия и поступки необыкновенными. Казалось бы, это было естественным проявлением дедовских чувств к внучке-первенцу. Но оно было действительно сверхмерным, и с самых малых лет он делал её постоянной участницей всех своих дел. Она, трёх-четырёхлетняя, присутствовала на его домашних репетициях с актёрами, когда он из-за болезни работал дома. Она переняла у него всю театральную терминологию. Ребёнок буквально сросся с дедом, и он, больной или здоровый, требовал постоянного её присутствия рядом с собой. Он так и умер, не отрывая глаз от присмирившего испуганного ребёнка, а она так и не поверила, что дед уехал в долгую командировку, не попрощавшись с ней. “Деспот”, “диктатор” имел в своём сердце неисчерпаемый запас доброты и любви. Она изливалась на тех, кого он любил, кто был ему близок, кто был достоин этой любви. Описать его восторженное преклонение перед гением армянской сцены Г.Нерсисяном невозможно словами. Надо было видеть его глаза, излучавшие восхищение этим человеческим совершенством. И надо было видеть полные ужаса и горя глаза Г.Нерсисяна, когда он ворвался в дом, узнав о смерти любимого друга, в первые минуты случившегося. Глубокое уважение питал к нему Давид Малян, постоянно мучившийся мыслью, что его не уберegli те, кто мог бы. И ни для кого не секрет, что с его уходом праздников в театрах поубавилось, а ощущение сиротства и пустоты появилось.

А.Дж.: Конечно, взаимное притяжение талантов было, и это было естественно и неизбежно. Но было и взаимное отталкивание людей, некогда близких и понимавших друг друга, а затем отдалившихся. Всё это было и будет в человеческих взаимоотношениях, в особенности в сфере искусства, всегда. Но в памяти ярко отпечаталась абсолютная слиянность двух мастеров Г.Нерсисяна и А.Гулакяна, стоявшая над мелочным бытом, суетой, пустотой.

В жизни нечасто случается, когда две крупные творческие личности оказываются полностью совместимыми. Г.Нерсисян был и остаётся в истории армянского театра не просто непревзойдённым актером, но и эталоном человеческих качеств. Его близость к Армену Карповичу была проявлением высокой оценки и глубочайшего уважения к личности огромных профессиональных и человеческих масштабов. Мы, студенты, знали это и гордились этим. Слиянность душ – счастье, выпадающее немногим творческим людям. Взаимная притяжённость – индикатор их человеческих качеств, какими бы разными ни были они по отношению друг к другу.

А.Гулакян и Г.Нерсисян – два равноценных символа армянского театрального искусства, две личности абсолютно разные и магнетически связанные.

Б.Г.: “Деспот” умел любить и ценить талант. Он сразу выделил тебя из всего курса, задолго до того, как это увидели и поняли другие. Его любовь простиралась за пределы твоей учёбы, дальнейшей работы. Он обеспокоенно следил за твоей личной жизнью, волновался, сложится ли твоя судьба благополучно. Роль молодого Ленина в пьесе Шатрова на сцене ТЮЗа он уверенно отдал тебе, а ведь тебе было чуть больше двадцати. Он говорил, что тебе под силу любые роли, что талант твой многогранен, безмерен. Ты стал венцом его педагогической деятельности и его надеждой. Моя первая рабочая командировка совпала с поездкой вашего курса в Москву, на показ выпускных спектаклей студентов театральных вузов. Вы приходили в поезде в наше купе, общались с Учителем, а он не уставал повторять потом, что ты – самый-самый и у тебя большое будущее: “Только бы сложилась судьба, не было бы осложнений”.

А.Дж.: Магнетизм большой личности ощущается и после её ухода. Его влияние на нас, порой неосознанное, порой явно ощущаемое, сохраняется, делая нас его носителями в разных обстоятель-

ствах. Любимая внучка Учителя, получив классическое филологическое образование (латынь, греческий), сделав успешную карьеру, каким-то непостижимым образом создала себе параллельную профессию театроведа, постоянного обозревателя театральной жизни Кипра. Чем это было определено? Не генами ли? Не пронесённым ли через десятилетия влиянием деда на ребёнка?

Б.Г.: Ты становишься всё более и более похож на Учителя не только в творчестве, в характере, поступках, но и в каком-то необъяснимом повторении ситуаций его жизни. Совсем по-гулакяновски ты пережил предательство учеников и близких. Ты устоял, но плата была высокой, и любящие тебя были в постоянном страхе за твоё здоровье. Ты удивительно похоже сочетаешь взрывчатость характера, требовательность в работе, строгость с необыкновенным душевным теплом, какой-то распаханностью сердца (мне ли этого не знать!). Как это похоже на Учителя! Я наблюдала за твоим общением с Леночкой. Ты никого не замечал за столом, а на девочку тратил все самые ласковые слова на русском и армянском. Безмерность любви – свойство незаурядности...

Безграничное горе разделило твою жизнь на две половины – “до” и “после”. Того, что случилось, не должно было быть! Ты смог выстоять, продолжать работать. Ты стал достоянием театрального искусства Армении и России, воплотив самые большие ожидания Учителя и превзойдя их. Выдержал самое трудное испытание – медными трубами, завоевав сердца многих, знакомых и незнакомых. Это заслуженная награда за всё, что ты делал и сделаешь в своём творчестве и вне его, за твою щедрую, благодарную душу, за Мудрость и Память.

Горько думать, что не состоялось более продолжительное творческое общение твоё с Учителем, что ты не перешагнул порог, разделяющий ученика и Учителя. Но ты стал ровень с ним благодаря верности его заветам и постоянному обращению к его памяти. Ты восстановил справедливость, назвав его одним из трёх гениальных режиссёров, с которыми ты работал: Андрей Гончаров, Марк Захаров и Армен Гулакян. Если бы все так почитали своих учителей... Я думаю, что благодаря тебе не один человек по-доброму позавидовал Армену Карповичу и почтительно склонил голову перед тобой. Будь!!!

Бэла Гулакян
Армен Джигарханян

А.Дж.: На протяжении всей своей творческой жизни я испытываю влияние одного творческого авторитета. Оно не колеблется с появлением других, порой очень сильных влияний, а сливается с ними, составляя одно целое – мои профессиональные пристрастия, мою жизнь в театральном искусстве, моё существование. Конечно, я глубоко сожалею, что не довелось подольше пообщаться с Учителем, услышать слова одобрения и напутствия в связи со своими работами. Я восполняю этот пробел постоянным соотнесением своих шагов – и творческих, и административных, и жизненных в целом – с тем, как бы прореагировал на это Учитель. Так что процесс обучения продолжается, и я не свободен, да и не хочу быть свободным от него никогда.

МАГДА ДЖАНПОЛАДЯН

ШОК ОТ КНИГИ

Мне надо было уточнить для одной своей научной публикации, какие издания на русском языке, связанные с армянским народным эпосом “Давид Сасунский”, появились за последние два десятилетия. В каталоге Национальной библиотеки РА я нашла несколько таких книг и заказала их, чтобы просмотреть. Одна из них называлась: “Давид Сасунский и его литературное наследие”. Заметив, что автор книги не назван, а количество ее страниц – 608, я подумала: наверное, это сборник, куда вошли литературные обработки армянского эпоса, или, может быть, какие-то наиболее ценные и значительные статьи о “Давиде Сасунском”... А когда увидела саму книгу и, еще не начав читать, чисто по профессиональной привычке полюбопытствовала, кто же ее составитель, – заметила, что составитель не указан. Как не указан и редактор. На той странице книги, где обычно помещаются эти данные, было лишь отмечено: “Художественное оформление – Александр Щукин”. А также: “Издание осуществлено при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ”. Книга вышла в 2009 году в Москве, в издательстве НП “Культура Евразии”, в серии “Классика литератур СНГ”. Ее подзаголовок – “Армянская литература с древних времен”. Перелистывая книгу, я заметила, что в ней помещен эпос, народные песни, стихи поэтов средневековья, поэтов нового и советского времени... Т. е. это издание антологического типа. Дойдя до ог-

лавления, увидела, что в нем названы только авторы и их произведения, и нет ни одного имени переводчиков, воссоздавших эти произведения на русском языке. И вдруг меня осенило: да ведь это та самая книга, о которой я читала в армянской литературной газете “Тракан терт” разгромную рецензию директора Института литературы НАН РА Авика Исаакяна! Рецензия эта с характерным названием “Пиршество невежд” была опубликована в начале мая. Газету от 6 мая я сохранила; процитирую строки из ее заключительного абзаца: “Об этой книге можно писать очень и очень много, можно представить ее для внесения в Книгу рекордов Гиннеса как ярчайший образец “пиршества невежд”. В статье Авика Исаакяна приведено множество конкретных примеров, подтверждающих это его заключение. Назову некоторые вопросы, поставленные автором, для того чтобы читателю стало ясно, почему я уже не буду их затрагивать.

А.Исаакян написал о странном заголовке книги (дело в том, что “Давид Сасунский” не взят в кавычки, и создается впечатление, что это не название произведения, а автор), привел полностью текст “бесподобно неграмотной аннотации”, отметил, что здесь не указаны имена составителей, редактора и переводчиков; что представленный в книге эпос – это фальсификация работы замечательных русских переводчиков; что предисловие Левона Мкртчяна “Пятнадцать веков армянской поэзии” взято составителями из сборника “Поэты Армении” (Малая серия “Библиотеки поэта” Л., 1979), о чем, естественно, нет никаких указаний (получается, что академик Левон Мкртчян жив и принимает участие в этой дилетантской книге – М.Д.); раскрыл существенные недостатки, связанные с составом сборника, с выбором поэтов и их произведений и др.

Почему же после всего уже сказанного я вновь пишу об этом издании? Конечно же, не потому, что при самом беглом ознакомлении с книгой мне бросились в глаза и другие недостатки, еще раз доказывающие правоту оценок, данных в рецензии. Приведу только один пример: “Книга скорбных песнопений” Григора Нарекаци представлена здесь и в переводе Наума Гребнева (главы 1, 2, 3, 9, 21), и в переводе Владимира Микушевича

(главы 23, 26, 30, 54, 55, 56, 69, 80, 82). Переводчики, естественно, не указаны. А ведь их принципы подхода к переводу гениального творения Нарекаци принципиально различны, о чем немало было в свое время написано, как, в частности, и о том, что по переводу Микушевича нельзя почувствовать истинного величия Нарекаци... И как русский читатель должен составить целостное впечатление о “Книге скорби” на основе столь разнородных текстов? – вот еще один вопрос, обращенный к анонимным создателям данной книги. Но не самый главный. Главное же, что заставило меня взяться за перо, – это опубликованный здесь текст эпоса “Давид Сасунский”.

Почему я не смогла, так сказать, “пережить” этот чудовищный текст, смириться с тем, что в книге столь низкого уровня есть еще один вопиющий недостаток? По той элементарной причине, что эпос – это не просто один из образцов армянской литературы, помещенный здесь. Эпос – это лицо создавшего его народа. “Народы, – писал Ованес Туманян, – ни в чем так ясно и ярко не выражают себя, как в своем национальном эпосе”. А вот мнение известного русского поэта Семена Липкина, переводчика “Джангара”, “Манаса” и других народно-эпических памятников: “...Именно в эпосе национальный характер обозначается с наибольшей определенностью и полнотой. Взгляд на предметы и сами предметы, домашний обиход и возвышенные идеалы, отношения между мужем и женой и связь человека и вселенной, жест, улыбка, восклицание, выражение радости и горя – все это в эпосе глубоко национально. “Вот каков я”, – как бы говорит народ самому себе, и в этом – младенческая прелесть эпоса; говорит всему миру, всем людям – и в этом – душевная зрелость и величие его души”. Эти слова свидетельствуют еще и о том, с какой ответственностью надо подходить к публикации текста эпоса любого народа.

Поскольку составители данного издания в основном использовали уже не раз публиковавшиеся переводы, я почему-то была уверена, что в открывающем книгу разделе, представляющем наш эпос, будет помещен (возможно, в сокращении или в адаптированном виде, ибо полностью это около 300 страниц)

перевод его сводного текста. Этот единый текст на основе многочисленных записанных и опубликованных вариантов эпоса был составлен армянскими учеными-фольклористами в конце 30-х годов прошлого века, к 1000-летию юбилею “Давида Сасунского”. Текст создавался путем тщательного отбора из всех имеющихся вариантов самых характерных эпизодов, выражающих с наибольшей полнотой и ясностью всю идейную глубину, художественное своеобразие и национальный дух армянского народа. Тогда же, к юбилею, этот текст был переведен на русский язык (переводчики – В.Державин, А.Кочетков, К.Липскеров, С.Шервинский). Перевод сводного текста сыграл огромную роль в популяризации армянского эпоса среди русского читателя, и уже в юбилейный период вызвал множество восторженных откликов в русской критике. В содержании эпоса, в развитии его основных мотивов, в образах эпических героев авторы разглядели национальный характер создавшего его народа. По словам Алексея Толстого, в рассказе о борьбе Давида с арабским войском и с Мсрамеликом “поражает **высокодушие и гуманность народа армянского**” (здесь и далее выделено мной – М.Д.) (“Литературная газета”, 1939, 10 сентября). А вот мнение А.Деева: “Эпос раскрывает перед нами **настоящую энциклопедию гуманизма во всех его проявлениях**, будь то отношение одного народа к другому, будь то взаимоотношения отдельных людей” (“Литературная газета”, 1939, 26 августа). Уже в юбилейный период в различных русских публикациях об эпосе “Давид Сасунский” не раз высказывалась мысль о его мировом значении. Вот, к примеру, слова Владимира Державина: “Тысячелетний эпос армянского народа по своей идейной глубине, богатству и стройности формы является беспримерным поэтическим памятником и **должен быть поставлен в одном ряду с величайшими народными эпосами мира**” (см. предисловие В.Державина к кн.: Давид Сасунский. Б-ка “Огонек”, М., 1939, с.8).

Русский перевод сводного текста “Давида Сасунского” неоднократно переиздавался уже после юбилея, в последующие десятилетия. И, естественно, эти годы также отмечены новыми и ценными суждениями и мыслями об армянском эпосе в рус-

ской критике. В середине 60-х годов один из переводчиков эпоса Сергей Шервинский так обобщил свои впечатления от “Давида Сасунского”: “Увлекло само повествование, столь богатое сценами, достойными Библии и Шекспира. Приоткрылось и то главное, что было облечено народом в столь величественную эпическую форму. Стало очевидным, что этот эпос стоит не только в ряду величайших эпосов мира, но что он **превосходит и Песню о Роланде, и Нибелунгов, и даже Гомера своей нравственной стороной**” (см. предисловие С.Шервинского к книге его переводов “Из армянской поэзии”. Ереван, 1966, с.10). В 70-е годы об армянском эпосе Владимир Рогов написал так: “**Если бы армянский народ мог предъявить из драгоценных россыпей своего духа только это создание, то и тогда ему было бы обеспечено одно из почетнейших мест в пантеоне всемирной культуры**” (см. статью В.Рогова в сб. “Читая Нарекаци”, Ереван, 1974, с. 90). А после издания сводного текста эпоса в Большой серии “Библиотеки поэта” со вступительной статьей и примечаниями Левона Мкртчяна (Л., 1982) Аркадий Баландин писал о “Давиде Сасунском” как о памятнике, “несущем в себе **заряд огромной художественной силы**” (“Литературная Армения” 1984, №1). Остроту и современность звучащих в “Давиде Сасунском” мотивов подчеркнул А.Кондратович. Выделив один из основных мотивов эпоса – “народное неприятие войны, смерти, крови”, критик отметил: “**Так высвечивается многогранность тысячелетней философии народа, его миропонимания, которое ... словно вырывается из глубин народной души. И мы сегодня явственно слышим те древние голоса**” (“Новый мир”, 1984, №10).

Я выборочно привела некоторые суждения о “Давиде Сасунском” в русской критике, чтобы показать, как был осмыслен и оценен наш эпос на основе русского перевода сводного текста. Думаю, теперь более понятно, почему я была уверена в том, что именно этот перевод, выдержавший проверку временем, должен был быть представлен в в книге из серии “Классика литературы СНГ”. Я даже не стала читать эпос с первой страницы. Но, перелистывая книгу, вдруг прочла:

Царевна каджей Дехцун-цам,
Красавица и волховея,
Справляя шабаш по лесам,
Придумать способ поновее,
Как молодца свести с ума,
Не потрудилась. Пахлевана
Она, как русская Татьяна,
Достала строчками письма.

(с.52)

Что-о??? Оказывается, сказители эпоса, исторической основой которого была борьба армянского народа с арабским игом и который складывался в 8-9 веках, знали о пушкинской Татьяне?.. А сама манера сказа, язык, слово “достала” в том значении, в каком оно употребляется в русской разговорной речи где-то с середины 90-х годов?.. Это был первый шок, испытанный мною от чтения. Взяв себя в руки, я начала уже более внимательно читать эпос с самого начала. Признаюсь, это потребовало от меня немалых усилий, поскольку сопровождалось непрекращающимся потоком шоковых состояний, и так, увы, до самого конца.

Армянский эпос – это повествование о сасунских богатырях, связанных между собой узами кровного родства. Соответственно в сводном тексте эпос представлен четырьмя ветвями: “Санасар и Багдасар”, “Мгер Старший”, “Давид Сасунский”, “Мгер Младший” Каждая ветвь начинается с поминовения богатырей, о которых здесь рассказывается. Поминовения есть во всех вариантах эпоса. Поминовения – это не только характерная особенность формы армянского эпического сказа: в них выражено отношение народа к героям, и потому они важны. Текст же, помещенный в данном издании, не имеет ни ветвей, ни поминовений. Но это еще не самое страшное. Дочитав его, я поняла, что имя пушкинской Татьяны – здесь отнюдь не случайность, а своеобразная его визитная карточка, так сказать, знак качества. Все дело в том, что **в данной книге переводов с армянского текст эпоса стоит особняком, поскольку это вовсе не перевод. Ибо не существует такого оригинала, с которого мог**

быть сделан этот перевод. Это анонимная литературная обработка “Давида Сасунского”, это иронически-пародийный пересказ эпоса **современным** русским версификатором, (знающим, правда, несколько армянских слов – арев, паныр, долма и др.), который менее всего ставил перед собой задачу донести до читателя основные мотивы, идеи армянского эпоса и его художественное богатство. Его задача – расслабившись, дать свое собственное – вольное, развязное и абсолютно безответственное, а порой и откровенно-насмешливое переложение эпоса, рассчитанное, естественно, на определенные современные читательские вкусы (определенные, но, будем надеяться, не определяющие). И если бы он опубликовал свое творение под своим собственным именем и отдельной книгой, – то и разговор об этом был бы совершенно иной. Но творение это помещено в книге из серии “Классика литератур СНГ”, с подзаголовком “Армянская литература с древних времен”! И, несмотря на то, что оно не имеет никакого отношения к классике (поскольку создано в наши дни), да еще и армянской литературы (поскольку написано не на армянском языке), публикация этого текста в данной книге заставляет меня подойти к нему с точки зрения того, насколько же верно и глубоко в нем воссозданы основные идейно-художественные черты армянского эпоса. Ведь читателю предлагается судить по этому тексту об армянском народном героическом эпосе!

Каждый эпос, как известно, отличается прежде всего своей манерой эпического повествования, и “Давид Сасунский” тут не исключение. Вот что писал о характере повествования армянского эпоса Вл. Державин: “Стихи эпоса звучны, **ритм разнообразен и выразителен, стих не скован искусственной формой**, а льется свободно, бурно и естественно, как горные реки” (см. указ. предисловие В. Державина). Здесь же манера армянского эпического сказа полностью искажена, весь текст зарифмован и изложен в той же ритмико-интонационной структуре, что и пушкинский “Евгений Онегин”, т.е. четырехстопным ямбом. Это – еще одно ярчайшее свидетельство “**олиитературивания**” армянского народного эпоса и полного игнори-

рования его национальных особенностей. Более того: чего не сделаешь ради выбранного стихотворного размера? Можно исказить и сюжет, заменить на время одного героя другим! Так, на с. 118 рассказано о том, как после поединка Давида и Мгера Давид проклиная сына, обрекая его на бессмертие и бездетность. Далее на той же странице читаем:

Давид, вернувшись, рассказал
Хандут о горькой встрече с сыном,
Что проклят, будучи невинным,
Он, как в сказании старинном,
Себя изгнанием наказал.
Смывая грязь, Мгер обнажился.
“О горе!” – вскрикнула Хандут.
Крест Ратный сажею покрылся,
Как знак от праведной Марут,
Как беспощадная примета...

Так кто же все-таки обнажился? По элементарной логике – Давид, так как это на его руке был Ратный крест. Кроме того, на той же 118 странице сказано, что Мгер в это время “у деда Вачо пировал”. Но Давид – двусложное слово, и оно не ложится в строку четырехстопного ямба. Значит, заменим Давида Мгером! Как говорится, нет проблем! Вот еще один случай замены Давида Мгером ради выбранного размера. После смерти Давида

Хандут не вынесла тоски
И добровольно поспешила
За Мгером в светлый мир иной...
(с. 123).

Нет проблем у автора и с русским языком, известным своей гибкостью. Если нужно для размера и рифмы, можно выдать и такое:

Новорожденного **крещая**,
Мать будто крылья обрела

И, как отец просил, прощаясь,
Малютку Мгером нарекла.

(с. 114).

И если народным сказителям именно содержание – то, о чем они рассказывают, – диктует форму выражения, то наш версификатор все подчиняет избранной форме. Вот и рождаются у него такие нелепые строки, которые можно назвать просто рифмоплетством:

А тут еще Хандут-принцесса
Шлет вести внуку Дехцун-цам,
Твердит гусанам и гонцам,
Что свел с ума ее повеса
И что она, как поэтесса...
Мол, приезжай, увидишь сам...

(с. 110)

Тот, кто знаком с содержанием армянского эпоса, не может не заметить, насколько далеки от фольклорного источника эти вирши и насколько они бессмысленны. О каких гонцах идет речь? Почему Давид – повеса? Почему Хандут – как поэтесса? Но все это не важно для автора. Важно, что найдены рифмующиеся слова... И подобных строк, к сожалению, в тексте великое множество.

Самое страшное и недопустимое в этом опусе – то, что в потоке рифмованных слов оказались размытыми, а порой и просто искаженными основные мотивы эпоса; “размытыми” и потерявшими свое индивидуальное лицо предстали и его герои. Так, . повествуя, как Санасар и Багдасар, убив багдадского халифа, отправились в страну своего деда – Гагика , как бы между прочим говорится, что братья **“забрали золота мешок”** (с. 50). Эта строчка совершенно неприемлема в армянском эпосе, потому что один из характерных его мотивов состоит в том, что армянские богатыри, одерживая победы над врагом, никогда не обогащаются за счет этих побед. Особенно ярко этот мо-

тив выражен в третьей, основной ветви, когда после победы Давида над Мсрамеликом к Давиду приходят мсырцы и предлагают забрать из их страны все, что он ни пожелает. Давид отсылает всех обратно и говорит, что ему ничего не нужно, а нужно только, чтоб никогда не нападали на Сасун. Точно так же абсолютно чужды духу армянского эпоса следующие строки:

Владеня рода укрепляя,
Тер-Гагик был душевно рад
**Распространить их до Китая,
До берегов реки Мурад.**

(с. 51)

Все дело в том, что, в отличие от других образцов народно-эпического творчества, в армянском эпосе начисто отсутствует мотив завоевания чужих земель, чужих территорий. Войны, разные битвы и сражения армянских богатырей всегда продиктованы благородными целями и носят исключительно освободительный, оборонительный характер. Замечу, что на эту особенность армянского эпоса обратили внимание и русские критики. Так, И.Розанов писал: “Борьба, которую ведут богатыри, военные подвиги, ими совершаемые, не преследуют никаких завоевательных целей. Это справедливая, освободительная война” (“Литературная учеба”, 1939, №11).

В новоявленном тексте появился еще один мотив, дискредитирующий армянской народный эпос. Вот как описана реакция в Сасуне на то, что Исмиль ханум после смерти своего мужа – Мсрамелика вызывает в Мсыр Мгера Старшего:

Меджлис, собравшись скоротечно,
Решил, что Богом суждено
Пробить к язычникам окно
И окрестить народ, конечно.

(с. 71).

Эта последняя строка абсолютно чужда духу армянского эпоса, потому что один из характерных его мотивов – **веротерпи-**

мость. В свое время это было отмечено еще Иосифом Орбели. “В эпосе, – писал он, – нет никакого обобщающего противопоставления христианства другой, чуждой вере. Борьба ведется с насильниками, захватчиками, врагами Сасуна и сасунцев, совершенно независимо от их религии” (И.Орбели. Армянский героический эпос. Ереван, 1956, с.65). Никогда сасунские богатыри не вели борьбы из-за веры, и ни разу, побеждая врагов, не обращали насильственно другие народы в свою, христианскую веру.

А как представлены в этом современном сказе сасунские богатыри? Еще в конце 30-х годов в русской критике было отмечено, что их образы, несмотря на наличие общих черт, ярко индивидуализированы, и авторы выделили характерные черты каждого героя (см. указ. статью И.Розанова и статью В.Гольцева в “Литературной газете” от 15 августа 1939 г.). Между тем в тексте, предложенном издательством НП “Культура Евразии”, очень трудно выявить индивидуальность каждого героя, поскольку они обезличены. Особенно не повезло в этом плане Мгеру Младшему, чей образ и чья судьба явно отличаются от других богатырей. Как писал Аветик Исаакян, это “самый величественный и самый трагический образ нашего эпоса”. Исаакян отметил и противоречивость природы Мгера Младшего. Но как все это заметит читатель, если в новом тексте опущены очень важные эпизоды, такие, как рождение Мгера с зажатым кулачком, в котором оказался сгусток крови (знак трагичности судьбы), эпизод о том, как Мгер ребенком построил мост и то избивал людей, проходящих по этому мосту, то возмущался, почему они переходят реку вброд (знак противоречивости его характера) и, наконец, эпизод, когда Мгер чувствует, что земля больше не держит его (ноги его коня Джалали увязают в земле) и объясняет это тем, что земля постарела, ослабла (т.е. наводнена злом)... Наконец, отсутствует здесь рассказ о том, как Мгер дважды в год выходит из скалы и проверяет, держит ли его земля И его ответ пастуху, выражающий мечту народа о свободной, справедливой и изобильной жизни. Точно так же пропущены важные эпизоды, раскрывающие характер Давида

(к примеру, история любви Давида и Хандут), образы остальных героев... Или же они представлены в совершенно ином, сниженном плане. Так, Багдасар, об особом внимании которого к женскому полу нет в эпосе ни слова, изображен неким Дон Жуаном:

А Багдасар ее сестрицу
Смутил до страсти роковой,
Оплел посулами девицу
И заманил в свою светлицу.
Ему такое не впервой.
(с. 54)

Зато сделан акцент на такие черты богатырей, как страсть поесть и попить. Понятно, что богатыри в эпосе едят и пьют больше, чем обыкновенные люди. В данном же тексте этот мотив явно смакуется автором. Он не упускает возможности раскрыть его поподробнее. Вот строки о Санасаре и Багдасаре, которых встретил царь Гагик:

Объятая, радостные слезы,
Толма, паныр, горячий плов...
(с. 51)

О Давиде:

Что до еды –большую фору
Мог дать любим и пить мастак (83)

...Давид очнулся: “Тетя, вы?
С вином, едою? Слава Богу.
Я б съел сейчас телячью ногу,
Да только нет ее, увы.
О, что за запах! Очень кстати!
Не знаю, как благодарить!
...Я эти ребрышки в салате
Могу и так переварить.
(с. 84)

Еще о Давиде:

Питье с едою,
Ну там вино и бастурма...
Немудрено сойти с ума!

(с. 111)

О Мгере Младшем:

...Как вдруг (с кем это не бывает
Из тех, кто вдоволь ест и пьет?)
Мгер понемногу отстает,
На время битву прерывает
И по нужде за куст идет.

(с. 133)

Это далеко не все подобные примеры, встречающиеся в тексте. Надо ли говорить о том, что процитированные строки – плод разыгравшейся фантазии автора? В связи же с последней строкой, которая как нельзя более наглядно демонстрирует “художественный” уровень данного текста и показывает, насколько отдален он от фольклорного источника, хочу сказать еще об одной особенности этой литературной обработки, грубейшим образом искажающей армянский народный эпос. Очевидно, рассчитывая на определенные вкусы (или следуя собственным вкусам), автор старается по возможности “обогатить” свое повествование эротическими описаниями, которых, естественно, в “Давиде Сасунском” нет и в помине. Так, письмо Дехцун Санасару, о котором уже упоминалось, – один из ярких и запоминающихся эпизодов в сводном тексте эпоса. Письмо это Дехцун посылает с двумя кувшинчиками – полным и пустым. В письме же пишет:

А душа моя, словно этот кувшинчик пустой,
Чиста, ясна.

А моя голова, словно полный кувшинчик,

Полным-полна,
Божьим даром наделена
...Тебя во сне увидала я,
Увезешь меня, как придешь сюда,
Ты мне очень понравился,
Санасар молодой!

(Давид Сасунский. Армянский
народный эпос. Л., 1982, с.108)

Теперь посмотрим, как преобразилось это письмо. О кувшинчиках и чистоте души, глубине ума девушки нет, естественно, ни слова. Но зато есть такие слова, завершающие послание Дехцун:

Лети на крыльях Джалали
И страсть девичью утоли.
Да не открой кому секрета...
А я портрет тебе за это
С письмом заветным перешлю.
Не медли. Я полуодета,
Обнять себя тебе велю!

(с. 52)

Думаю, разница в содержании приведенных отрывков достаточно красноречива. И еще один пример. В третьей ветви сводного текста эпоса рассказывается о том, что жене Дзенов Ована, Саризэ, полюбился Давид, и она говорит:

“Приходи ко мне ночью, Давид”
Давид ей: “Тетя. Бог с тобой,
Ты мне – мать, а я тебе – сын”.
Подумала Саризэ: “Дай стану голову мыть,
Пускай Давид придет мне воду лить,
Как увидит он тело мое,
Войдет в его сердце грех, и он придет ко мне”.
Пришла она, воды набрала,

Позвала Давида, чтоб воду лил.
А тот глаза закрыл,
Чтоб на тело Сарие не глядеть,
Чтоб не вошел в его сердце грех.
Так он воду ей подавал.

(с. 222)

Вот этот же эпизод, расцвеченный эротическим воображением современного сказителя:

Сарья-ханум в ночную пору,
Свечой рассеивая мрак,
Несет в кровать предмету страсти
Баранье мясо и вино.
Давид, не ведая напасти,
Беспечно спит давным-давно.

Она его тихонько будит:

Давидик, ласковый, встречай.
Целует сонного, голубит,
Касаясь, будто невзначай,
Запретных мест... И нетерпенье
Ее, безумную, ведет
Туда, где дремлет сладкий плод,
Не знавший грешного смятенья.
...Сарья седые пряди рвет
И вот, совсем уже бесстыдно
В купальню названного сына,
Чтоб слил ей, ласково зовет.
Давид доверчиво подходит
И покачнулся. Что за вид?
Сарья раздетая стоит
И ноги медленно разводит.

(с. 83-84)

И этими пошлейшими, скабрёзными описаниями автор, очевидно, решил украсить текст! Поистине, “совсем уже

бесстыдно” с его стороны так измываться над армянским народным эпосом.

Еще одна явно бросающаяся в глаза черта, абсолютно невозможная в любом народном эпосе и, естественно, отсутствующая в “Давиде Сасунском” – это встречающиеся на протяжении всего текста различные аналогии, сравнения, параллели из образцов мирового эпического творчества или литературных произведений. “Русская Татьяна” – отнюдь не единичный случай. Вот еще несколько примеров:

Как Шахразаду Шахриар,
Простил ее халиф жестокий
И двух младенцев восприял.
(с. 45)

Как Гектора в прошлом Троя,
Как Ярославна со стены,
Сасун оплакивал героя...
(с. 119)

И, как Сухраб, отцу – Рустаму,
Мгер жизнь Давиду подарил,
Свел к фарсу яростную драму...
(с. 117)

Семь лет скитался Мгер по свету,
Да только счастья не добыл.
Но наконец в Багдад к рассвету
Явился, в рог свой затрубил,
Как твой Роланд...
(с. 139)

Демонстрируется еще и осведомленность автора в религиозно-мистических учениях, в истории христианства разных стран, даже знание латинизмов, и все это – в народном эпосе армян. Ср.:

Тут не понятно мне одно
Теософийское пятно.
(с. 132)

И вот сошлись архимандриты,
Епископы, католикос
И ловко, как иезуиты,
Решили каверзный вопрос.
Ловки предшественники школы
Отца Игнатия Лойолы.
(с. 75)

А Козбадиновых внучат
...Мгер на ограду Сасунграда
Прибил, как некогда, на Крест
Мессию отдаленных мест
Распяли, волею Пилата,
Легионеры супостата.
Здесь – **Homo Homes Lupus est.**
(с. 137)

Правда, в латинском изречении – не Homes, а Homini, но какое это имеет значение? И вообще яркая индивидуальность автора выявляется на протяжении всего текста, поскольку, вопреки всем канонам жанра эпоса, он то предается раздумьям, выражая их в довольно сложной для народного сказителя эпоса форме, к примеру:

Рациональное зерно
В сосестрах Евы спит до срока,
Но вдруг, где страстно, где жестоко
Переплетается оно
С наитьем чувственного толка...
(с. 78)

то неоднократно вмешивается в повествование. Так, описывая красоту Гоар, замечает:

Сказать про прелести иные
Мне воспитанье не дает.

(с. 131)

А рассказывая о том , что во времена Мгера (Младшего) люди разных стран понимали друг друга, замечает:

Меня, признаться, умиляет
И удивляет их язык.

(с.129)

А что же сказать о языке самого автора? Умилять этот язык точно не умиляет, а сказать “удивляет” – это, наверное, слишком слабо... Хотя и приведенных примеров, думаю, достаточно, чтобы составить о нем определенное представление, но, тем не менее, нельзя не подчеркнуть: **именно языком автор добивается поставленной перед собой цели – превратить героический эпос армянского народа в фарс, добиться сознательным соединением стилистически абсолютно разнородных, несовместимых слов и выражений комического эффекта.** Разве не весело становится от того, что в древнем эпосе армян (ведь этим эпосом открывается сборник, подзаголовок которого – “Армянская литература с древних времен”!), можно прочесть, например, такие строки:

Как дождевая пелена,
Как тучи, что туда стремятся,
Где **в атмосфере слабина**
И **анероиду** подняться
Давление низкое не даст,
Так **в механизмах сопряженья**
Соседних стран тиран горазд
Упрочить вес и положенье
Отдельно взятой стороны
За счет соседней **слабины.**

(с. 121).

И вот так, на протяжении всего повествования, разговорно-просторечные слова и выражения переплетаются с книжной фразеологией, порой и старославянизмами, к примеру:

Давид, **сумнящися ничтоже**,
 Сказал: “Здесь нужен пересчет”.
 Я ненасытному вельможе
 Давидов окажу почет.
 ...Местами лоб его и зубы
 Ударом мерки поменял,
 Потом за **шкирку приподнял**
 И пояснил не очень грубо.
 (с. 98)

(Правда, слово “сумнящися” пишется не с буквой “щ”, но это уже мелочи...)

Народно-разговорные, а также просторечные слова и выражения, как известно, характерны для лексики эпоса. Но это должны быть такие элементы языка, которые органически вписываются в текст народного творения, отдаленного от нас веками. Однако данный текст изобилует словами и выражениями, которые вошли в русскую разговорную речь сегодня, к примеру: “пекловая жара” (с. 44), “за ради Бога” (с.53), “минувший” (с.80), “неторопко” (с.89), “сопониманье” (с.106), “закукленный” (с.134), “Бог мартовских котов” (с.112, “котьяра” (с. 56) ... Подобная лексика вызывает слишком современные ассоциации и явно диссонирует с духом эпоса. А что сказать о встречающихся здесь словах, которые не зафиксированы даже в Google! Я даже в Интернете не смогла найти примеры с использованием слов “туролобые” (с.54), “птицерье” (с.91), “чес” (с.127), “понуга” (с.110)... Это, наверное, неологизмы автора. Насколько стилистически эклектичен и потому комичен текст, предложенный читателю, можно судить хотя бы по следующему отрывку на с. 109:

Сосестры Евы...
 В ткань судеб вяжут нити гнева,

И если муж, такой-сякой,
Избави Бог, **пойдет налево**,
Их рвут безжалостной рукой.
Дядя бородками седыми
Трясут, усердствуя **зело**.
Им скукой челюсти свело.
...И, **ностальгически** шаля ,
По дури ли, забавы ради
Плетут докучливые дяди
Вокруг Давида **вензеля**.

Читатель не должен удивляться слову “ностальгически”, которое, будучи книжным, сравнительно недавно стало более широко употребляться в разговорной речи. То ли еще он встретит на страницах данного издания! Не цитируя строк, приведу только ряд книжных слов и выражений, которыми наполнен этот “народный” текст: “метаморфоза” (с.81), “инициатива” (с.106), “пенаты” (с.81), “миазмы” (с.102), “нюансы” (с.81), “капилляры” (с.51), “эскорт” (с.63), “регенерируя” (с.63), “аперитив” (с.125), “вираж” (с.125), “полумеры” (130), “неукоснительно” (с.133) , “этикет” (с.130, “агония” (с.126)... А есть и слова, имеющие очень ограниченное употребление, которые в тексте народного эпоса не просто режут слух, а выглядят абсурдно: “репеллент” (с.103) – это, оказывается, химическое вещество, отпугивающее насекомых; “пирании” (с.102) – хищные прожорливые рыбы, обитающие в Южной Америке (интересно, откуда знал про них Давид Сасунский?), “торнадо” (с.67) – название смерчей, “оманж” (с.73) – клятва вассальной верности...

Можно выделить в тексте намеренно-фарсовое использование современной лексики и фразеологии общественного, политического плана: “возможности рождают спрос” (с.90), “межгосударственная” (с.135), “конвенции” (с.126), “депутаты” (с.122)...

И чтобы читатель не сомневался, что текст, опубликованный издательством НП “Культура Евразии” – никакой не древний армянский эпос, а современная насмешка над ним, откровен-

ная пародия, типичный бурлеск – и автор этого не скрывает, – процитирую еще несколько строк:

Без обозначенных границ,
Без виз в то время люди жили...
(с. 128)

Возликовал честной народ,
И просит доблестного Мгера
К себе, надеясь, что займет
Он пост главы (как нынче – мэра).
(с. 138)

Пусть в адском пламени враги
Сгорят огнем, без некролога.
(с. 87)

И вот закукленного Мгера
В колодец бросили глухой,
Давно заброшенный, сухой,
Полузасыпанный трухой,
Без даже кондиционера!
(с. 134)

Действительно, весело! Веселее быть не может. Но, как сказал поэт, “Все это было бы смешно, // Когда бы не было так грустно”... Этим примером с кондиционером я завершаю поток цитат, которыми, наверное, уже утомила читателя... Завершаю не потому, что мне нечего больше сказать о данном тексте. Есть еще целый ряд серьезных вопросов, особенно ошибки в географических названиях, реалиях – этнографического и иного плана (так, совет князей и священников, который созывает Мгер в Сасуне, назван Меджлисом (с.71), в то время как Меджлис – название органа власти в мусульманских странах) ... А может, это очередная шутка? Как шутка и то, что, поздравляя Мгера и Армаган, решивших пожениться, “Властительный Теваторос //

Влюбленной паре преподнес// Благословенные хачкары” (с.66), т. е могильные камни?.. И, право, стоит ли этот текст того, чтобы о нем говорить серьезно? Конечно же, не стоит! Это низкопробное, пошлое чтиво, и если бы оно было издано не анонимно, каким угодно автором, решившим сегодня в силу каких угодно мотивов по-своему, в комедийно-фарсовом ключе переложить армянский эпос, пусть оно и нашло бы себе соответствующего низкопробного читателя... Ведь в наше время можно издать все, что вздумается. Но текст издан под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, в сборнике, представляющем классическую армянскую литературу, и **этот текст представлен как армянский народный эпос! Вот почему я не могла молчать.**

Какие же отзывы вызовет “Давид Сасунский” в книге 2009 года у современного русского читателя? Можно не сомневаться, что в них не будет ничего похожего на то, что уже было сказано об армянском эпосе в прошлые десятилетия.

Осквернена духовная сокровищница армянского народа – ярчайшее выражение духа народа, его национального характера, его идеалов. Осквернен и опорочен один из лучших памятников мирового народно-эпического творчества. Кто же должен понести ответственность за это преступление? Поскольку в сборнике с подзаголовком “Армянская литература с древних времен” из серии “Классика литератур СНГ” не названы ни автор данного опуса, ни составитель сборника, ни его редактор (как это вообще возможно и допустимо?), значит, вся ответственность ложится на издателей.

P.S. Я уже закончила статью и вспомнила, что забыла посмотреть в Интернете одно отмеченное мною слово, которое встретилось мне впервые, – “двулуденящий” (с.82). И тут же Google выдал строки:

И только эхо повторило
Двулуденящий душу крик.

Оказалось, что это слово по-русски употреблено единственный раз, и тут же был назван источник: “Давид Сасунский. Поэма по мотивам армянского эпоса. Александр Рюсс. <http://www.stihi.ru/2011/03/04/542>”. Так я узнала автора анонимного текста, который, живя и здравствуя сегодня, нашел себе место и в сборнике армянской классической литературы.

Однако в том, что произошло, виновен вовсе не Александр Рюсс. Мало ли как может человек развлекаться? Вот он уже поместил свое творение в Интернете под собственным именем. **Конечно, после того, как оно было напечатано в книге тиражом в 5000 экземпляров как народный армянский эпос, а не как поэма по мотивам армянского эпоса, сочиненная неким Александром Рюссом.** Версификатор может развлекаться в свое удовольствие, ему закон не писан. Но те, кто создавал этот уже опозоривший себя сборник, кто включил в него творение Александра Рюсса в качестве образца армянской литературной классики, а также и “ничтоже сумняшеся” субсидировавший подобное издание Межгосударственный фонд – должны ответить за оскорбление и выщучивание великого памятника духовной культуры армянского народа. – М.Д.